

Надежда Ажгихина  
**ДЕТСКИЙ САД**



Надежда Ажгихина

ДЕТСКИЙ  
САД

Москва  
2024

---

УДК 82-32  
ББК 84(2Рос=Рус)-4  
А34

Книга издана при финансовой поддержке  
Министерства культуры Российской Федерации  
и техническом содействии  
Союза российских писателей

Рисунок на 1-й стр. обложки – Наталья Биттен  
Фото на 4-й стр. обложки – Лидия Григорьева  
Дизайн и вёрстка – Сергей Щербина

**А34 Ажгихина Надежда.**  
Детский сад. – М. : АИРО-XXI ; Пробел-2000, 2024. –  
200 с.

ISBN 978-5-98604-988-5

Героини новой книги Надежды Ажгихиной живут в мегаполисе и небольшом подмосковном посёлке, это люди разного возраста, у них несхожие характеры и судьбы. В каждой судьбе, в каждой семье отразилась история страны, её переломные моменты и драмы. И каждая верит в свою мечту о счастье. А также – в чудо, которое может произойти, если не оставлять надежду...

УДК 82-32  
ББК 84(2Рос=Рус)-4

ISBN 978-5-98604-988-5

© Ажгихина Н., 2024  
© «Пробел-2000», 2024  
© АИРО-XXI, 2024  
© Биттен Н. обложка, 2024

---

# СОДЕРЖАНИЕ

ДЕТСКИЙ САД _____	5
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ _____	26
СИРЕНЬ _____	44
НЕВЕДОМАЯ СИЛА _____	73
ТАНИТОЛКАЙ _____	93
СЧАСТЛИВАЯ _____	107
СЛЕДОПЫТ _____	118
НОВОСТИ ЖЕНСКОГО РОДА _____	134
ДЕНЬ ПОБЕДЫ _____	159
НЕБО В АВГУСТЕ _____	183

---

## ДЕТСКИЙ САД

**Т**ак и не сказала, умирая, кто он был. Отец настаивал: с медицинской точки зрения, это очень важно знать – некоторые болезни передаются только по мужской линии, через поколение, но наука идёт вперёд, можно принять превентивные меры...

Слушала, как всегда, спокойно и сосредоточенно. Разомкнула рот, чётко произнесла: «Не помню». И закрыла глаза.

Не захотела. Ушла молча.

...Я смотрела на её сжатые губы, на посмертный макияж, который неожиданно сделал её почти молодой – она вообще не выглядела в гробу девяностолетней старухой, сохранила какую-то собранность, как будто сейчас очнётся и снова будет всеми руководить, давать указания... Странно смотрелись православная лента на лбу и иконка, которую положили в ногах (я не помню, в какой момент иконка у неё появилась, маленькая, почерневшая от времени)... Активистка, атеистка, неутомимая командирша, она как будто уносила с собой что-то очень важное, важнее, чем даже имя моего деда, чем то, о чём мы не

успели с ней поговорить... Поняла, что никогда её на самом деле не знала.

О том, что мой дедушка Анатолий Васильевич был не просто горным инженером, а сыном управляющего шахтами Михельсона, которому до революции принадлежали копи не только Анжеро-Судженска, но и весь Восточно-Сибирский угольный край, мне рассказал бабушкин брат, дядя Миша. Я ещё жила в подмосковном посёлке с бабушкой, ходила в четвёртый класс местной школы и постоянно болела. Дедушку недавно похоронили, и сибирские бабушкины родственники всю зиму приезжали проведать и помянуть, гостили подолгу.

Их моя мама почти ненавидела: ей приходилось без конца сервировать, убирать, мыть, а рано утром бежать на электричку, чтобы успеть до сирены на проходной в свой НИИ около Курского вокзала. Бабушка любила гостей, вдохновенно угощала, пекла пироги, лепила пельмени, заправляла луком, выращенным на подоконнике, квашеную капусту и вечером уходила спать, оставляя полную раковину грязной посуды. У нас тогда уже была газовая плита, но колонку ещё не установили, и маме приходилось греть воду в огромной кастрюле.

Как-то утром, когда бабушка побежала на партсобрание посёлка, дядя Миша и рассказал,

что мой дед был – «фабрикант», что его арестовали, когда в треке взорвался газ и погибли шахтёры, что ему грозила «вредительская», но дядя Миша убедил своего начальника, что Анатолий Васильевич не виноват, и деда через год отпустили. Дядя Миша работал следователем в НКВД. Что такое НКВД, а тем более вредительство, я не очень поняла, но уяснила: это какая-то тайна, о которой лучше помалкивать.

Я уже знала, что о некоторых вещах лучше не распространяться. Ещё раньше, встав ночью в туалет, слышала, как дедушка и отец громко спорят: отец твердил о каких-то трубах в снегу, которые лежали штабелями. За завтраком я спросила, почему трубы (у нас в посёлке как раз прокладывали водопровод, и бабушка как руководитель группы домовладельцев постоянно ссорилась со слесарями) лежали штабелями. Повисла тишина. Дедушка поперхнулся. А отец впервые повысил на меня голос, почти заорал, чтобы я немедленно замолчала и не говорила глупостей.

А когда я уже заканчивала московскую школу и приехала на последние осенние каникулы, бабушкина племянница, с которой мы квасили капусту, и она втайне от взрослых угощала меня пивом, сказала, что Анатолий Васильевич был отцом моего погибшего в авиакатастрофе дяди

Серёжи, а мою маму усыновил, когда сошёлся с бабушкой. И что настоящий её отец был не то инженер из «бывших», не то расстрелянный троцкист, не то начальник дяди Миши, энкавэдэшник, которого потом самого репрессировали. Я поперхнулась капустным листом и потом ещё долго смотреть не могла на соленья и пиво.

Моя бабушка и семь её сестёр и братьев происходили из беднейшей рабочей семьи, росли в шахтёрском посёлке, в бараке с цементным полом. Маленькие ползали по полу и искали тараканов, чтобы съесть. Отец погиб в шахте, мать, неграмотная женщина, мыла полы у соседей. Сколько детей она родила, я так никогда и не узнала – бабушка пресекала все разговоры на эту тему. Как и многие другие.

В книжном шкафу бабушки рядом с ровными томами собраний сочинений Ленина, Герцена, Писемского и Тургенева стояла книга «Ленин. Сибирь. Комсомол», в которой несколько страниц было посвящено сибирской пролетарской семье Лещёвых, участников революции и гражданской войны, первых комсомольцев и пионеров, героев труда и ветеранов Великой Отечественной и трудового фронта. Скучная книга. Я смотрела в основном на фотографии; страницы о Лещёвых знала наизусть, но они тоже были ужасно скучные, к тому же, как я скоро поняла, там было

полно ошибок. Например, неверно названы номера шахт и полк, в котором дядя Гриша, самый старший брат, служил в гражданскую; имя Тухачевского вообще не упоминалось. Ничего не было сказано и об участии другого дедушки в битве за Берлин, за которую он получил Звезду Героя; и ни строчки про детский сад Марии Лянге, о которой я слышала с самого раннего детства.

Про детский сад рассказывала мне бабушка. Как ходили на речку Яю, как разучивали французскую песенку про городок Анжер: где-то во Франции был такой – в его честь будто бы кто-то из геологов назвал Анжеро-Судженск... (Насчёт последнего я потом проверяла – не было такого.) Детский сад для детей рабочих придумала молодая женщина Мария Лянге, дочь польского ссыльного: она увлекалась педологией и устроила в брошенном коровнике настоящий пансион, где малыши не только ели и спали, но и разучивали танцы, столярное дело, осваивали азбуку, учились мыть руки, застилать постели, пользоваться ножом и вилкой. Многие, как бабушка, жили в убогих клетушках, спали вповалку, а тут были накрахмаленные наволочки, чистые полотенца. Готовили вместе щи из трав, пекли картошку, сушили черёмуху, потом мололи её и пекли пироги...

Всё это было ещё до революции. Мария Войцеховна Лянге мечтала иметь десять детей, так

потом и получилось: у неё было десять детей, и она всю жизнь проработала директором детского сада в Кузбассе. Бабушка с ней переписывалась, я регулярно относила письма на почту, бросала в ящик. Приходили ответные письма. Двое сыновей Марии Лянге стали полярниками, один – академиком, дочери пошли по её педагогическим стопам... Это я слышала уже позже, когда уехала в Москву, и иногда удивлялась, как стойко бабушка поддерживает эту связь. Оказалось, до революции инициативу Лянге финансировал лично магнат Михельсон. А потом детский сад перешёл под крыло советской власти, однако Мария осталась заведующей.

Часто, когда я приезжала, бабушка с удовольствием вспоминала то время. Например, как рассказывали друг другу сказки разных народов, кто какие знал, и потом представляли в лицах, соорудив из тряпок и обрывков картона костюмы и бутафорию – принцесс, духов леса и воды, драконов, всадников... (В Сибири жили самые разные люди: немцы, поляки, евреи, китайцы, корейцы, татары – Лянге хотела, чтобы все они дружили.) Ещё: как встречали рассвет и сажали капусту на детсадовском огороде; как няня-фельдшерица учила малышей чистить уши, опиливать ногти и искать полезные травы от желудочных колик. Няню звали Елена, но

у неё было ещё одно имя, Гейл, и она была красивая.

– Насколько красивая? – просила уточнить я.

– Как Нефертити.

Книгу о таинственной древнеегипетской царице подарила бабушкина племянница, дочь дяди Гриши, уезжавшая строить Асуанскую плотину. Бабушке она привезла длинное просторное платье с ярким орнаментом и платок, как у Ясира Арафата.

Книгу я перечитала несколько раз. Эта Елена-Гейл-Нефертити несколько лет не давала мне покоя. Особенно после того, как бабушка обронила, что была она не просто фельдшерицей, но подпольщицей, революционеркой, передавала письма рабочих в газету «Искра» через друга, и что в неё был влюблён дядя Гриша...

А в кого была влюблена она сама? Ответа я не получила.

Сколько раз, засыпая в бабушкином доме с регулярной простудой, с горчичниками в носках, я представляла, как тонкая и стремительная Елена-Гейл шагает с медицинским чемоданчиком по деревянным тротуарам Анжеро-Судженска в изготовленных ссыльным мастером-подпольщиком ловких сапожках: цок-цок, и в каблучках тайник, где хранятся списки товарищей или свидетельства злодеяний царского

режима, и за красоткой наблюдает знакомый полицейский, который тоже тайно ей симпатизирует... К кому она идёт? И о ком думает?

Представляла, как она, молчаливая и прекрасная, обнажённая, почти как Венера перед зеркалом с репродукции в «Огоньке», сидит на подоконнике, пока её друг, лидер сибирских эсеров (откуда я это взяла?), прорывая пером бумагу, пишет воззвание. Елена просит его не взрывать сына фабриканта, который спас её в детстве, и тот скрепя сердце соглашается... Как после облавы она бежит от преследователей через тайгу и находит помощь у староверов... Я сочиняла о Елене-Гейл авантюрный фильм со множеством серий, иногда видела их отрывки во сне и во сне надеялась с ней встретиться...

Иногда мне казалось, что эта таинственная девушка и есть моя настоящая бабушка, мне так хотелось в это верить... На свою собственную бабушку, парторга подмосковного посёлка, ветерана шахтёрского труда, с неизменной алой помадой и таким же алым маникюром я не хотела походить.

Кто же он всё-таки был, мой родной дед?

Моя мама родилась в 1938 году, в апреле. Бабушка уже работала в шахте, её с третьего курса направили на производство, заканчивала вуз экстерном. Вообще-то она хотела поступать

в политехнический, учиться на инженера, но комсомол решил, что нужны молодые геологи пролетарского происхождения. Старые кадры практически все «вычистили».

«Сделала маникюр, надела голубую шляпку и пошла», – свой первый визит на шахту 9-15 (в Анжеро-Судженске шахты назывались по номерам) бабушка помнила хорошо. Как и встречи с портнихами и обувщицами: готовой одежды и обуви не было, шили на заказ. Платья и туфли изысканных фасонов, совершенно не похожие на продукцию фабрики «Большевичка» или «Скороход», из крепдешин, креп-жоржетов, набивного шёлка, тончайшей кожи с выделкой, хранились в тяжёлом дубовом шифоньере с инкрустацией, который также был привезён в Подмоскowie из далёкого Кузбасса. «Испортит кто-нибудь настроение – пойдёшь закажешь платье, и на душе становится лучше...»

Портнихи, обувщики, краснодеревщики были в основном из ссыльных, как и преподаватели музыки, библиотекари и маникюрши. Только много лет спустя я поняла, что не только «лишenci», но и инженеры и геологи вплоть до середины 1950-х были фактически тоже ссыльными, прикрепленными к своим рабочим местам, пусть даже руководящим, – по сути, как «государственные крестьяне» в пору крепостничества, без

права добровольно сменить работу или уехать в другой город. И уехали бабушка и дедушка из Анжеро-Судженска, только проработав на своих шахтах, он инженером, а она геологом, по 25 лет. Тогда и поселились в подмосковном посёлке, рядом с дачей бабушкиного брата-фронтовика...

Маникюр был бабушкиной гордостью – делала его неизменно. И в шахту с ним спускалась (обычно дважды в неделю, несколько километров под землей): «Идёшь – вдруг впереди порода обвалится; обернёшься – за тобой осыпалось... Выходим с маркшейдером все чёрные, отмыться несколько часов не можем...»

Бабушка была первой в СССР и, думаю, первой в мире женщиной – главным геологом угольной шахты. И ближайшая её помощница маркшейдер тоже была из первых женщин-специалистов в отрасли. У обеих были семьи, дети. Декретный отпуск тогда длился два месяца, ночами не спали, потому что Сталин не спал, сидели на совещаниях. На совещаниях бабушка запретила мужикам нецензурно выражаться: не знаю до сих пор, как ей это удалось, но перестали. По выходным готовили политинформации для рабочих, изучали статьи Ленина, Сталина, партийные документы.

Хозяйство – дом, корова, куры, огород – вели ссыльная немка («масло подворовывала, сбивала

и продавала на рынке») и жена репрессированного генерала – сподвижника Тухачевского, полька: она ухаживала за мамой и дядей и звала их на французский манер: Алин и Серж. Ссылные и доходяги, выброшенные из лагерей, в военные и первые послевоенные годы слонялись по рынку в надежде, что кто-то из советского начальства возьмёт их в услужение – это была единственная возможность выжить...

На мою просьбу рассказать, как они познакомились с Анатолием Васильевичем, бабушка всегда отвечала скупко: на производстве. Про родных его не говорила ничего – вроде как все умерли в Гражданскую. Михельсона называла кровопийцей. Классовых врагов определяла интуитивно и чётко. Крестьян презирала как низший неразвитый класс. Возмутилась, когда мама повесила в нашей комнате портрет Есенина, требовала убрать. Но мама проявила твёрдость – я тогда впервые поняла, что за её внешней покладистостью скрывается железный характер, не слабее, чем у бабушки. Что мамыны подчёркнутая аполитичность, равнодушие к общественным хлопотам, фанатичная приверженность семье и мужу – это протест против бабушкиного тоталитарного управления временем и пространством... «Мы наш, мы новый мир построим...» – этого мама не выносила, как и прочего революционного пафоса...

С соседками дворянского происхождения бабушка, впрочем, держалась приветливо, но настороженно, как будто ожидая подвоха. Переживала, что любимый сын, мой дядя, пошёл не в политехнический, куда отправили маму, а в медицинский – считала врачей и учителей обслуживающим классом. Отца моего не выносила вдвойне – из-за неполноценного происхождения и потому что сидел. Закрывалась в комнате, когда дедушка с отцом садились слушать «Голос Америки» и обсуждать последние события. Когда папа стал известным медиком и отправлял её на лечение, принимала помощь как должное, почти с высокомерием. Умерла у него на руках.

Я очень, очень не хотела на неё походить.

Бабушки нет двадцать пять лет. Я всё ещё натыкаюсь иногда на фотографии, которых в детстве не запомнила: вот они с сёстрами, молодые, играют в волейбол; вот она в своём кабинете главного геолога – вздёрнутый нос, строгая причёска, устремлённый куда-то вперёд и ввысь, (в будущее?) взгляд... Как к ней относились мужчины? Те, которым она запретила материться, и те, которые и без неё не матерились? Были ли у неё романы? Никогда ни слова, ни намёка. Резко обрывала.

Устраивая с университетскими друзьями «литературные бдения» со свечами, где представляли

себя персонажами Серебряного века, мы с подругой заимствовали платья из бабушкиного шифоньера... Она разрешала, просила только вернуть всё чистым и отутюженным.

С изумлением, безнадежно, чем дальше, тем больше понимаю, что похожа – похожа совсем не на маму, а на неё... Узнаю в своём голосе её тембр, смотрю на ею посаженный куст сирени и, вспоминая маму, которой нет со мной дольше, чем бабушки, плачу о ней не как о маме, а как о своём ребёнке... Может быть, чувства наших предков проступают в нас, как старые узоры на обоях? Откуда во мне их пугающая, взрывчатая и не всегда приятная взвесь? От кого внезапная ярость, резкость, неудержимое любопытство и страх, и тупость, и вялость? Почему я вдруг обнаруживаю в себе неожиданные и подчас пугающие черты? Впрочем, не я одна. Ковид и последующие события во многих, видимо, пробудили какие-то спавшие до времени проявления и свойства... Возможно ли, чтобы генетический код впитал квинтэссенцию опыта поколений, живших в страхе? Был повреждён, искорёжен. И мы подобны подломленной ветке, приросшей к стволу как-то кривовато, нескладно...

Несколько раз я пыталась выпытать у мамы, кто её настоящий отец, но она сама знала ровно столько же, сколько и я. И никто из родных

больше ничего не мог сказать. С бабушкой у мамы были очень сложные отношения, напряжённые – вечное, не прерываемое ни на миг противостояние, незаметное со стороны. Бабушка не просто командовала мамой больше и ожесточённее, чем всеми прочими родными, – она неизменно подвергала все мамины действия критике, доводя иногда до слёз. После гибели сына, моего дяди, стала к дочери ещё строже. На похоронах мамы, которая умерла от редкой болезни почти внезапно, бабушка не проронила на людях ни слезинки. Только ночью, когда я приезжала погостить, слышала, как она рыдает одна, в своей комнате, надрывно и долго.

В начале 1980-х появилась мода на родословные изыскания. Стали складываться группы по интересам, сообщества родственников известных персонажей прошлого. Многие обнаружили в числе своих предков дворян, прославленных полководцев и мореплавателей, даже членов царской семьи. Предприимчивые архивисты предлагали за скромную плату выстроить историю фамилии и всех её ответвлений.

Искали своих родственников и внуки репрессированных и насильственно переселённых – это стремление вглубь истории частично замещало отсутствие живого современного разговора. Потом, когда началась перестройка, жажда знания

о былом соединилась со стремлением немедленно обсудить настоящее – прошлое стало аргументом, и рождалась новая, диковинная, мифология... Рядом с лубочными фигурами добродетельных правителей и счастливых подданных в воображении современников (и на журнальных полосах) возникали прежде скрытые в тумане колоссы – монументальные героические фигуры загубленных революционеров и командармов. В стремительно складывающемся новом пантеоне без разбору громоздили на постаменты мучеников церкви и её гонителей, жертв и палачей, монархистов и коммунистов. Их головы окружал общий скороспелый нимб, в свечении которого вдруг вспыхивали, возникали промельком неожиданные, зловещие отблески, которых, впрочем, никто тогда не замечал...

В публикациях, в том числе в журнале, где я работала, появились новые слова: интертекстуальность, оксюморон, симулякр...

Люди стали придумывать себе биографии. Бывшая соседка, дочь тихого стукача-дворника, вдруг появилась в популярном шоу и поведала, что её бабка – плод страсти великого князя и английской аристократки, которая скончалась от туберкулёза на Соловках. Соседи прекрасно помнили тот самый «плод страсти» – румяную бабу Дусю, снабжавшую весь подъезд солёными огур-

цами с собственного огорода и тушёнкой из стратегических запасов (работала кладовщицей в воинской части, обслуживающей «глушилки» под Балашихой, препятствовавшие советским гражданам слушать вражеские голоса), – и веселились от души. Лет через пятнадцать в далёкой Австралии я включила местный русский телеканал и увидела снова её, дочь дворника, вдохновенно повествующую о новой семейной драме: на сей раз она оказалась потомком раввина из Барановичей и православной монашки...

Бывший однокурсник, известный журналист, написал, что его дед, почётный пенсионер, в честь которого внука и назвали, был садистом и убийцей. Лично расстреливал. И что он, внук, несёт в себе этот ген, несмотря на все свои демократические убеждения и заслуги перед свободой прессы. Ещё один коллега сообщил, что когда один его дед сидел в ГУЛАГе, другой служил в охране того же самого лагеря. Наверное, каждый третий мой сверстник мог написать нечто похожее. Но написали единицы. А некоторые взялись преследовать тех, кто старался рассказать о прошлом, – будто опасались, что их собственный «ген насилия» станет заметен, как пятно проказы.

Есть ли вообще какое-нибудь средство от этого тяжёлого наследственного недуга, рассуждали

мы с коллегами в маленьком французском городке Анжере, где проходил всемирный журналистский конгресс. В эти дни в городке открывали доску памяти молодой журналистки, погибшей в Африке, весь город высыпал на улицы в стремлении принять участие. Мы с коллегами из Москвы позавидовали.

«Тут все помнят, что мы страна коллаборационистов, – сказал французский журналист. – Заметила, сколько улиц названо в честь героев сопротивления, сколько памятников? Многих зверски казнили, потому что добропорядочные сограждане их выдали. И в школе детей с первого класса учат, что фашизм не должен повториться. Но не факт, что это нас всех спасёт...»

Перестройку бабушка не приняла. Внимательно следила за новостями, не отходила от телевизора – мой пятилетний сын после проведённого у неё лета знал по именам и в лицо всех руководителей страны. При этом бегло и неохотно бабушка просматривала журналы, включая тот, в котором я работала, печатавшие новые свидетельства очевидцев и тексты из архивов с пометкой «Хранить вечно».

Она считала, что Горбачёв не прав. Ельцина не восприняла совсем. Впрочем, и Зюганова считала штрейкбрехером. Перечитывала Герцена и Писемского.

Однажды, уже почти перед самым её уходом, я пыталась сделать с ней беседу-интервью, но материал не получился: отвечала скучно, неохотно, оживилась, только когда вспомнила про детский сад Марии Лянге. Упомянула, что у Марии был старший брат, участник эсеровского кружка, потом работавший с дядей Мишей в НКВД. Я никогда прежде об этом не слышала, стала спрашивать, но она снова замкнулась, сказала, что человек этот пропал без вести. Ушла в себя.

Мария Лянге к тому времени уже умерла. Я написала её сыну, профессору из Академгородка, попросила прислать материалы об их семье, о детсадовском движении и получила толстый пакет: фотографии, ксерокопии воспоминаний бывших воспитанников, грамоты, газетные вырезки. Ничего про брата Марии. Спросила о нём напрямую уже потом, после публикации материала.

Профессор приезжал в Москву, мы встретились. Публикация ему очень понравилась, он долго рассказывал о матери, о том, что она была очень сосредоточенная и преданная детям, что о многом не успела рассказать и не написала в записках. Всё связанное с братом Кшиштофом она уничтожила, даже фотографии и метрики из архива: уговорила выдать материалы ей на руки и якобы потеряла. Так, объяснила, велели «люди, с которыми не спорят».

Кшиштоф был членом кружка эсеров, одно время даже скрывался от полиции в детском саду, где, кажется, влюбился в девушку-фельдшера, но она любила руководителя эсеровского подполья, потом с ним уехала в Палестину. Сам Кшиштоф пропал, потом оказалось, что работал в разведке в Европе. Приезжал уже после войны, но под именем Кристоф и с совершенно другой фамилией. Визит его оказался кратким: что-то искал в Кемерово – не вспомнить, о чём и о ком шла речь. После этого Марии и велели вычеркнуть его из памяти. Жаль, конечно. Но тогда многие так делали: вымарывали родных, теряли адреса, сжигали все свидетельства...

Мне снова снилась Гейл-Нефертити-Елена: на подоконнике в каморке, где тускло горит керосиновая лампа, она слушает воззвание, только что написанное главой подпольщиков на клочке бумаги, который она завтра понесёт в своих сапожках связному, чтобы в свежей «Искре» были опубликованы слова рабочих с приисков Михельсона... Снилось, как мой редактор в кожаном фартуке, согнувшись в три погибели, вручную набирает буквы в печатной раме в подвале подпольной типографии, а у него над головой, в лавке кавказских фруктов, расхаживает околоточный. Он, побрякивая, угощается дармовой чачей и закусывает чурчхелой, а хозяйка качает в люльке проснувшегося младенца...

Подпольная типография 1905–1907 годов, филиал Музея революции, в соседнем с моим доме на Лесной улице до сих пор открыта по будням. В детстве мой сын с друзьями любили забираться в подвал, где стоял антикварный печатный станок и где даже малышам было тесновато... Теперь от музея осталась небольшая часть исторического здания – собственно вход в лавку и подвал, остальное принадлежит гостинице «Кирпич» и табачному бутику.

Жаль, что последняя тоненькая ниточка возможности всё же что-то узнать оборвалась. Столько лет не угасала надежда!

Сын Марии Лянге был прав, у многих в семейной истории существуют подобные зияния – стёртые, словно ластиком, страницы, фигуры... Чаше их вымарывали женщины – впрочем, они же и писали сотканную из мелочей и мимолётных впечатлений летопись ГУЛАГа, войны, восстановления страны, по этим крупичкам мы можем воссоздать пропущенную державными летописцами жизнь, её течение. Течение чувств... Многих, однако, эти зияния не смущают: в конечном счёте мы все без исключения потомки убийц и людоедов – так действовал естественный отбор; вклад же в генофонд редких, неизвестно как затесавшихся в человечью семью героев и праведников ничтожен. Но кто сказал, что худшие из качеств передаются по наследству?

Я приехала на дачу, в дом, где жила бабушка и где сама росла, в день её рождения, второго мая. Зацвела сирень – рано в этом году; её запах мешался с запахом черёмухи. Пирог с черёмухой – бабушкин любимый. Так и не научилась его печь. Надо бы посмотреть рецепт...

Тренькнул телефон – сообщение с незнакомого номера: «Вы меня, вероятно, не помните, я была волонтеркой на конгрессе журналистов в Анжере. На днях нашла в записках бабушки (она недавно скончалась) вашу публикацию “Вся жизнь – детский сад”. Кажется, вы написали о сестре её первого мужа, он был из России. Там целая коробка его записок, фотографий. Может быть, они вас заинтересуют?»

---

## СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

– **М**ой муж будет физик, изобретатель, он построит новый космический корабль, чтобы полететь к звёздам, и откроет новую звезду, которая станет добрым знаком для всех. Бабушка знает старую песню про такую звезду. Её надо только открыть. И всем откроется будущее и счастье. И мой муж её откроет. Он может быть смешным, тихоней, немодным, но он это сделает. А я буду ему помогать. Буду работать сама. Может быть, у нас будут дети и они станут помогать... – Ленка мечтательно затянулась сигаретой из бабушкиного арсенала.

– А я буду актрисой! Играть Чехова! И муж у меня будет француз, тоже артист, шансонье, мы будем гастролировать вместе, в Париже нас встретит Джо Дассен, и мы продолжим вместе, русская актриса и два француза... И наша любовь будет блистать на сцене, как самая яркая звезда! Ведь именно любовь даёт жизнь и делает людей счастливыми! – Ирка взмахнула руками, представляя, как они приветствуют публику.

– Хорошо жить на своей земле – не в городе, где-то рядом. Конечно, не так, как сейчас, а чтобы всё там было. Мы в своём доме, и много детей... Трое, четверо... И мы всегда вместе: вместе на речку, вместе в лес, вместе в доме что-то делаем... – Оксана задумалась. – И можно свой пруд выкопать, рыбу завести...

Мы лежим на пуфиках дома у Ленки, жуём сухарики и сушёный инжир, курим сигареты «Фемина», которые оставила бабушка, стряхиваем пепел в хрустальную пепельницу в форме птицы. Обсуждаем домашнее задание по литературе – сочинение на тему семейного счастья.

– А ты что? – спрашивают меня.

Медлю. Я никогда об этом не думала. Затягиваюсь, кашляю.

– Чтобы вместе в одну сторону... Как Елена и Инсаров... Необязательно революция, конечно... То есть заодно... Это и есть счастье...

Мы дружим уже целый год, с тех пор как я пришла в эту школу. Я тут чужая, пришлая. Из Подмосковья. И девчонки со мной дружат отчасти из-за того, что я хорошо пишу сочинения, а они списывают, и русский даю списывать. Но всё же у нас сложилась компания.

Ленка – внучка и дочка артистов Цыганского театра. Её дедушка, беженец из Испании, – главный драматург; бабушка – прима, играет во всех

спектаклях: мы бесплатно смотрели, и вместе с классом. Их квартира в высотке, где гостиница «Украина», не похожа на все остальные, которые я видела. В большой комнате весь пол застелен пухлыми коврами, вместо стульев – кожаные пуфики с золотым тиснением, с сюжетами из жизни фараонов; в низких стеклянных шкафах серебряная посуда, на стенах афиши на разных языках; большой портрет бабушки с веером – настоящая Кармен. В этой комнате ночью ставили раскладушку для Ленки. Мама с новым мужем и сестрой жила отдельно, а Ленка – с бабушкой и дедушкой.

Дед Рамон, маленький, худой, с горящими глазами, всегда поил нас чаем с какими-то душистыми травами, дома ходил в шёлковом халате, расшитом золотой нитью, и курил трубку. Бабушка сама курила коричневые сигареты с перламутровым мундштуком – таких не продавали в магазине. «Фемина» была для гостей, чем мы нахально пользовались. Бабушка – всегда в макияже, с кольцами и браслетами, как будто готова в любую секунду выйти на сцену. Говорили они между собой всегда громко, часто на повышенных тонах, как будто продолжали репетировать, потом вместе смеялись. Ленка ненавидела запах дыма и, когда дед с бабушкой уходили, широко открывала окно – проветривать.

Бабушку, как она рассказывала, дед украл – её не хотели за него выдавать – и запретил родственникам к ним приезжать. Когда таборные цыгане с Киевского вокзала или откуда-то ещё пытались проникнуть в дом, консьержка всегда отвечала, что Родригес и Яровая на гастролях надолго и неизвестно, когда будут. За это ей, помимо билетов, каждый месяц перепадало что-то из мелочей: блок американских сигарет, набор колбас из «Берёзки», колготки...

Когда приходила Ленкина мама с семьёй, с друзьями, дом превращался в табор: все пели, смеялись, маленькая сестрёнка неизменно танцевала, как взрослая, и нас всех учили цыганским танцам, а заодно вальсу, танго, фокстроту... Ленка терпеть не могла танцев. В ней вообще не было ничего цыганского, пошла в отца – блондинка с голубыми, почти прозрачными глазами, меланхоличная, только разрез глаз не русский, восточный. Отца её мы никогда не видели, она с ним, кажется, встречалась очень редко и ничего не рассказывала.

Ленка была бабушкиной любимицей, та её возила на гастроли по всему СССР и даже за границу, в Югославию, где обнаружили какие-то дальние родственники. Там цыган боялись, удивлялись, что в Москве у них есть целый театр. В бабушку, она рассказывала, был влюблён молодой

актёр, высокий красавец, – умолял бросить деда, говорил, что будет воспитывать её внуков, резал себе вены.

– Такая любовь! – восхищалась Ирка. – Неужели он ей совсем не нравился? Или она до сих пор деда любит?

– Нравился, наверное, – пожала плечами Ленка. – Но у них с дедом больше чем любовь. У них – миссия.

И окаменела лицом.

Рамон Родригес не только писал пьесы. Он дружил с какими-то профессорами – мы видели некоторых из них; иногда к Рамону приходили не очень хорошо вымытые подростки – он с ними говорил на непонятном языке, потом кому-то звонил, устраивал в техникум или даже в институт...

Ирка была влюблена во всех цыган сразу. Она-то как раз была на цыганку похожа: черноглазая, кудрявая, смешливая, бесконечно восторженная и зажигательно танцевала. Ирка единственная из нас жила не рядом со школой – ездила на автобусе с Тверского бульвара. Её коммуналка с обшарпанными и скрипучими деревянными полами также была местом наших встреч. Ирка выдвигала матерчатую ширму, освобождала центр комнаты от вещей, наряжалась в мамино гипюровое платье (оно было велико на тройку разме-

ров), заматывалась в вязаную шаль и декламировала утробным голосом – монолог Агафьи Тихоновны, «Федру» Марины Цветаевой из растрёпанного «Чтеца-декламатора», слова Наташи Ростовой перед открытым окном из «Войны и мира». При этом воздевала руки в шали и закатывала глаза.

Мама с первого класса отдала Ирку в нашу школу, чтобы удобнее забирать с работы – она была мастером маникюра в парикмахерской на Большой Дорогомиловской. К матери на работу наша классная периодически отсылала Ирку смывать косметику или маникюр... Отец её, дальнобойщик, погиб, когда она была совсем маленькая. Когда домой приходил отчим, мясник с Дорогомиловского рынка, огромный, громкий, Ирка вся сжималась и забивалась в угол, а мы спешили смыться.

«Всё-таки мне Наташа Ростова не близка, – Оксана пускала дым колечками, – просто самка, а не женщина. Пелёнки, то да сё. Всё-таки Толстой очень однобоко смотрел на женщин. Да и Софью Андреевну обижал. Гулял опять-таки напрапалую. Половина Ясной Поляны – его потомки, а он их не признавал».

Оксана жила с бабушкой в длинном кооперативном доме, выходящем на бульвар. Родители работали за границей, приезжали пару раз в год,

а однажды она ездила к ним в гости, в Афганистан: рассказывала про многожёнство, намаз, про то, как женщины с помощью застывшего сахара выдирают волосы из подмышек. Азия Оксане не нравилась, и работа родителей не нравилась – она по ним очень скучала, а с бабушкой, старой большевичкой, вечно пропадавшей на собраниях, общалась исключительно поверхностно. Впрочем, мы подруге отчасти завидовали: заядлая партийка не требовала возвращаться вовремя домой и была совершенно безразлична к запаху сигарет от школьной формы – ей хватало приличных оценок в дневнике.

Правда, наших визитов она не поощряла тоже, так что мы базировались в основном у Ленки или у Ирки, на Тверском бульваре. Её окна выходили как раз на кафе «Лира», где каждый вечер выстраивалась очередь, и мы дымили, лежа на широком подоконнике, и иногда даже переговаривались с ожидающими. Иногда парни из очереди приставали, обещали прийти в гости, и тогда мы спешно закрывали окна.

У меня собираться было просто негде: однокомнатная квартира-«распашонка», тахта родителей за ширмой, мой раскладной диванчик. Уроки я готовила на кухонном столе, ночью закирала читать в санузле, чтобы свет из кухни не мешал родителям, а потом, в десятом классе,

когда начала «внештатничать» в газете, приспособилась ставить на тумбу для белья взятую напрокат портативную пишущую машинку, а сидела на крышке унитаза. Какое это, помнится, было счастье!

Наша школа на Малой Дорогомиловской являлась своего рода отстойником. Тут учились бездельники из семей иностранных специалистов, которых не брали в элитные посольские заведения (дома УПДК стояли прямо напротив школы, за высоким бетонным забором), двоечники из домов на Кутузовском (отличники шли в математическую или английскую рядом) и всякая шушера, вроде обитателей бараков около Киевского вокзала. Наша четвёрка была чем-то средним: нас не трогали хулиганы из бараков и не замечали жившие своей жизнью иностранцы. А кроме того, не сильно донимали учителя, которым куда интереснее было заниматься репетиторством с индусами или югославами.

Жвачка, джинсы, сигареты и помада практически открыто продавались на переменах. Но нас это мало касалось. Оксана приносила на наши посиделки с неизменным тортом или шакерпури свой портативный «Грюндик», и мы слушали «Битлз», «Иисус Христос – суперзвезда», Адамо и Джо Дассена; колготками нас снабжала Ленка... Так что мы могли предаваться своим коллектив-

ным фантазиям относительно беззаботно. Помнится, даже придумали, как мы встретимся, когда нам будет – страшно сказать! – тридцать лет! Вместе с мужьями и (у некоторых) детьми... В качестве места встречи Ирка предлагала Париж, Оксана – дачу на Оке, Ленка – Байконур или Центр управления полётами, а то и вообще далёкую Неваду...

Мальчишки из класса, точнее Ваня, Мишка и чех Зденек, иногда вместе с нами прогуливали уроки и ехали на автобусе к Новодевичьему монастырю, в кинотеатр «Спорт», где Ванина мама работала администратором. Мы проникали на первые сеансы «взрослых» фильмов, и по многу раз смотрели «Анжелику», «И дождь смывает все следы», «Они ходили по дорогам» Феллини...

Каждая из нашей четвёрки была немного влюблена в Мишку, высокого, кудрявого блондина, капитана волейбольной сборной школы. Но он явно предпочитал свои тренировки, а выше всего прочего ценил сверкающий мотоцикл, который Зденеку подарили на 14 лет, и он давал друзьям прокатиться вокруг школы. Зденек определенно симпатизировал Ирке, но та, снисходительно принимая мелочи вроде жвачки или разноцветных шариковых ручек, оставалась совершенно безразличной. Когда Зденек пригласил её на концерт Карела Готта в Москве, Ирка

согласилась, но пойти в гости и познакомиться с родителями и братом отказалась наотрез, что ей потом вышло боком...

Эту школу, наши детские прогулки-посиделки, сигареты «Фемина» и всегдашний торт «Бисквитно-кремовый», который покупали в складчину и уминали под разговоры о любви, я напрочь забыла не просто давно – ещё в позапрошлой жизни. Забыла и то, как нас отчитала литераторша Елизавета Арнольдовна за незрелые сочинения о семейном счастье – она на весь класс объявила нас эгоистками, думающими только об удовлетворении собственных амбиций, равнодушными к судьбе страны. Мне, как и всей нашей компании, впервые поставили за сочинение четвёрки, а в назидание велели прочесть в «Комсомольской правде» очерк «Улица, по которой ты идёшь каждый день» о женщине – докторе каких-то наук и матери десяти детей. Как она из экономии ходит на работу пешком и вечерами укладывает детей на раскладушки...

«Ты знаешь, я бы всё отдала, чтобы жить не так, как эта, из газеты, – шептала мне Оксана. – Это же ужас, ужас, это не жизнь...» Впрочем, горевали мы недолго – Ваня нас позвал на новый фильм Феллини, «Амаркорд»...

После седьмого класса мы переехали: я поступила в другую школу, и началась совсем иная

жизнь. Несколько раз перезванивались с девчонками, но они тоже как-то рассредоточились, и мы потеряли друг друга из виду.

Как оказалось, на три с лишним десятка лет...

...Вскоре после начала нового учебного года в магазине «ВкусВилл» на Украинском бульваре меня окликнула возле полки с детским питанием женщина: «Не узнаёшь? Я Оксана. Мы учились в 62-й школе...»

Я секунду вспоминала. Конечно, черты расплылись, она огрузнела, кажется, стала меньше ростом, но тот же прямой и ясный взгляд и даже чёлка, правда, не каштановая, а пепельная, с модным оттенком.

– Ты как тут?

– Вернулась в квартиру родителей. А ты?

– И я. Правда, это уже другая квартира, но тут, рядом.

У неё в сумочке протрещал мессенджер.

– Я бегу, – она ловко подхватила упаковку молочной смеси, – давай завтра встретимся в «Одессе-маме», на бульваре? Завтра годовщина Ирки. Сможешь?

И умчалась.

В популярное сетевое кафе Оксана пришла в костюме популярного бренда, туфли и сумка под стать, стильный макияж, укладка. Заметив мой оценивающий взгляд, как будто смутилась:

– Я всё-таки лицо фирмы, иначе клиенты не поймут... Спецодежда!

Мы, не сговариваясь, заказали драники, которыми нас всегда кормила Оксанина бабушка в те вечера, когда разрешала позаниматься вместе русским языком.

Оксана рассказала о себе: двое сыновей, взрослые, двое внуков, первый муж погиб в Чечне, второй умер после пустяковой операции по удалению аппендицита – тромб оторвался.

Работала в научном институте, но диссертацию не защитила – не жалеет: кому сейчас нужны историки Средних веков? Окончила психфак заочно, сейчас работает администратором в центре личностного развития; очень хороший бизнес, хозяйка центра – её бывшая студентка... Она говорила, и у меня в памяти возникали одна за другой картины наших вечеров и бесконечных блужданий по району...

– Помнишь сочинение про семейное счастье?

– А то! – её глаза заблестели. – Помнишь, как нас тогда Арнольдовна расчихвостила? Вы не думаете о родине, туда-сюда... Кстати, журналистка, которая написала ту статью в «Комсомолке», это Инна Руденко.

– Да, великая журналистка. Между прочим, мы вместе работали в газете, она написала в 1984 году очерк «Долг» – о наших потерях в Афганистане...

– После этого у моего отца был первый инфаркт, – Оксана залпом выпила. – От счастья. Он не думал, что доживёт. Потом ещё два...

– Что Ленка?

– О, ты знаешь, она реально вышла замуж за физика! Правда, сначала за испанца – сына коммуниста, сподвижника Ибаррури, потом он стал видным деятелем каталонского сепаратизма, погиб во время теракта. Ленка долго убивалась, хотела пойти в монастырь, а потом встретила Марка... Он был гений, совершенно отмороженный ботаник, но гений! Канадец. Разрабатывал искусственный интеллект, чипы вживлял, чтобы мысли передавать на расстоянии... Номинировался, кажется, даже на Нобелевскую премию. Они обожали друг друга. Однажды поехали на Ниагарский водопад. Помнишь, там с мостом была катастрофа? Погибли... Ленка давно говорила: лучшая смерть – это вместе с любимым, в стихии...

– Как Ваня?

– О, он модный киновед, живёт в Европе, читает лекции. Икона стиля, говорят, а был, ты помнишь, замухрышка...

– А Ирка? С ней-то что случилось?

– Давай её помянем. Сегодня как раз девятнадцать лет.

Оксана заказала ещё водки. И стала рассказывать.

Ещё в школе у Ирки случился всё-таки роман со Зденеком, их застукали в раздевалке спортзала, разразился скандал. Зденек хотел на ней немедленно жениться и увезти в Чехословакию, но вмешались его дипломатические родители. Ей еле-еле выдали аттестат, в театральном не поступила, стала работать официанткой в кафе «Хрустальное», в том доме, где когда-то мы жили с родителями. И случилась беда: отчим с дружкой гульнули и изнасиловали её прямо в подсобке. Ирка не стала молчать и подала в суд. Мать не выдержала и отравилась, приняла лошадиную дозу таблеток. Оксана и Мишка ходили в суд, добились, чтобы насильников посадили.

– Мы тогда с Мишкой встречались. А он и с Иркой крутить стал. Одновременно. И забеременели мы одновременно, и аборт делали вместе у подружки моей бабушки, в женской консультации. Я быстро в себя пришла, а Ирка не могла от наркоза отойти часа три, очередь встала на дыбы – я их успокаивала. Ирка Мишку полюбила больше, чем я. Всю жизнь любила. А потом его из института выгнали и отправили в Афганистан...

В подразделении, где он служил, было всего десять мальчиков из Москвы. За год он девять раз приезжал в Москву с гробами товарищей, к их родителям. Вернулся законченным наркома-

ном. Ирка снова забеременела, решила родить. Он её бил, пил, ширялся. Потом выпал из окна, когда она заснула... Она никак не могла простить себе, что заснула. И мать Мишкина её не простила...

А потом снова вышла замуж. Второй муж у неё был бандит настоящий. На стрелку её отправил вместо себя – еле спаслась. Его застрелили в Подмоскowie, а потом его подельники квартиру отняли – она на всё согласилась, лишь бы отстали. Жила у знакомых, устроилась в Дом культуры, вела кружки. Вышла замуж за гитариста, а он оказался зависимый, картёжник. Уехал играть на Север, пропал... А потом она стала телезвездой...

– Да что ты!

– Помнишь программу «Давай поженимся»? Она там блистала в первые годы – и пела, и плясала. Женихов хоть отбавляй! Выскочила за какого-то поклонника из Одессы, поехали после свадьбы к нему, а там разборка – всех порешили. И похоронили там же, у лимана...

Я слушала, не веря своим ушам.

– А мальчик? Сын Мишки и Ирки?

Оксана как будто очнулась, потрясла головой:

– Так это же мой Витька. Старший. Я его усыновила, когда Ирка погибла. Договорилась с опекой. Ему 15 было, всё сладилось...

– И где он?

Она достала сигарету, затянулась:

– На контракте. Уже полтора года. Осуждаешь?

– Как же так вышло?

– От любви. Ему жена последняя говорит: построй дом, или уйду. Он весь в Ирку – всё искал неземную любовь. Одна шалава бросила, другая из-под венца убежала. У него профессия мирная – повар; в ресторане работал, но не так, чтобы миллионы... Долго мучился, потом подписал контракт, кредит оформил. Невестка тут же организовала процесс у нас на Оке, нашла бригаду. Красивый проект. Как подменили её – то нос воротила, а теперь: «Оксана Дмитриевна, Оксана Дмитриевна», «Оксана Дмитриевна – наше всё». Родила. Мальчонка такой сладкий, пухлый, на Ирку похож, весёлый... Витька приезжал три раза уже: ночами не спит, кричит, вскакивает, но счастливый... Он там генерала кормит, всё-таки профи... Говорит, скоро вернутся совсем... А невестка обещает, мол, и второго вам рожу...

– Ты к Мишке на могилу ходишь?

– А как же! Каждый год. И в промежутках. Думаю, если бы я тогда не сделала аборт, был бы у меня от Мишки тоже сын или дочка. А так Витька.

– А твой другой?

Она пожала плечами:

– В Петербурге. Тренер сборной по теннису, жена – фитнес-инструктор. Свой зал, свои доходы – всё мало. Не любят, когда приезжаю. Однажды она так и сказала: у нас нет средств вас часто принимать, у нас бизнес в кризисе. Я не настаиваю, как-то образуется. У всех своя жизнь.

– Ты знаешь, Инна Павловна Руденко была не только великой журналисткой, она оказалась велика и в любви. Я это своим студентам рассказываю. Им с Кимом Костенко, её последним мужем, перевалило уже за сорок, когда встретились и полюбили друг друга – можешь представить, советское время, редакция... И на них всегда было радостно смотреть – до самой его смерти. И даже после. Когда он погиб, я поняла, что смерти нет, пока того, кого нет с нами, любят...

– А ты, я знаю, встретила своего Инсарова... Любила? Как никого больше?

– Да вот поняла-то уже потом... То есть когда его не стало. Знаешь, так странно, что люди, которых больше нет, остаются с тобой. Помогают...

– И мне так кажется... У Мишки ведь есть ещё один сын, старший. От какой-то девчонки – они встречались в институте. Он в Киеве, полковник, воюет против нас... Пишет иногда. И я думаю: как так получается? Мой отец умер из-за Афганистана, Мишка погиб из-за Афганистана, моего мужа

убили в Чечне, теперь мой сын воюет, а его единокровный брат...

Мы вышли из «Одессы-мамы», сели на лавочку в сквере нашего детства, закурили. С непривычки закружилась голова, я закашлялась.

Мы сидели обнявшись и плакали. Начал накрапывать дождь.

– Знаешь, – сказала Оксана, вытирая потёкшую краску с ресниц и щёк, – самое главное – чтобы все они были живы. Это главное счастье...

– Это счастье, – эхом отозвалась я.

---

## СИРЕНЬ

**Б**укет сирени она купила у корейцев в овощной лавке, на углу Лексингтон-авеню. Довольно помятый, но он реально пах! Это была удача. Нина бодро зашагала к метро и вдруг вспомнила, что оставила в гостинице подарок, – пришлось вернуться. «Роджер Смит», отель средней руки, обычно был забит участниками международных конференций и консультаций, в основном, правозащитниками и представителями общественных организаций, приехавшими за счёт организаторов, многочисленных агентств Организации Объединённых Наций. Члены правительственных делегаций и аккредитованные корреспонденты престижных изданий жили в UN Plaza, практически у штаб-квартиры ООН, или в других соответствующих статусу местах.

«Роджер Смит» был отделан в латиноамериканском стиле, на стенах намалёваны кактусы и агавы, в ресторане светильники в виде сомбреро и панно – переход группы мужчин через горный перевал. Внешность и одежда постояльцев могли бы стать живой иллюстрацией к ролику о бесконечном многообразии современного мира: афри-

канские женщины в ярких тюрбанах и немисли-  
мых развевающихся одеяниях, индийские сикхи  
в чалмах, с закрученными и спрятанными в спе-  
циальные сеточки бородами, монахи и монашки  
всех существующих конфессий...

Нина, приезжая в «Роджер Смит», не раз ду-  
мала: если бы автор ролика оказался более лю-  
бопытным, он бы показал также, что основная  
масса приезжающих сюда представляет на самом  
деле нижний срез международной бюрократии,  
унифицированной ментально и лингвистически,  
давно утратившей реальную связь со страдаю-  
щими по-разному соплеменниками и единовер-  
цами, говорящей на общем выморочном, искус-  
ственном языке. Язык, на самом деле, моделирует  
мир – вовсе не отражает; и куцый, оскропленный  
язык мир уродует, деформирует пространство и  
время, поражает психику... Если человек годами  
читает документы международных гуманитар-  
ных миссий, он становится киборгом, частью  
бездушного механизма, хотя бы частично...

Даже самые важные и разумные вещи пре-  
вращаются в бессмысленное сочетание звуков.  
Что такое «человеческие права»? Почему именно  
так в официальном переводе на русский обо-  
значены ценности, ради которых тысячи людей  
идут на риск и подчас на верную гибель? Чем  
плохи «права человека», нормальное русское

словосочетание? Неужели тем, что за права человека боролись диссиденты и «Международная амнистия»? В школе ведь учили, что права человека на Западе – ловушка и ложь, фейк, как сказали бы сегодня, буржуазная демагогия, как и вся их лицемерная демократия; и только у нас в СССР граждане дышат свободно и в полной мере пользуются всеми своими правами... Никакой симпатии не могут вызвать эти «человеческие права» – вывороченное наизнанку обозначение чего-то чужого и неважного. Наверное, так же недоумевали люди сто лет назад, когда им на головы вместо привычной речи обрушился революционный новояз...

В крошечном номере она наконец взяла подарок, лежавший на узком столике для компьютера. Коля Мальчик просил привезти из Москвы книгу о революции 1917 года глазами современного журналиста, её написал их общий давний знакомый. Нина почти забыла об этом и в последний день перед командировкой бегала по книжным, отыскала только вечером. Наверняка эту книгу можно было купить на Брайтоне или заказать на «Амазоне», но Мальчик всегда просил новую книгу из Москвы, это стало ритуалом. Как и сирень для Ирки.

Нина засунула книгу в сумку и пошла к лифту. Лифтов в «Роджер Смит» было почему-то всего

два, и те медленные: опаздывающие на встречи и мероприятия осыпали их проклятиями на всех существующих в мире языках. Нина с трудом втиснулась, держа сирень над головой, чтобы не измять. Переполненный людьми и запахами ковчег останавливался на каждом этаже, какая-то пышная латиноамериканка попыталась ввинтиться в кабину, как в вагон московского метро в час пик, но лифт подал угрожающий сигнал, и она отступила.

Наконец приехали. Кабина тяжело осела, слегка подпрыгнув, двери распахнулись, в холле лифт давно ожидала толпа. Прямо в ней и стоял Ярек. Она хотела что-то сказать, но в горле застрял ком – поперхнулась несказанными словами.

– Т-ты? Нина?!

Он стоял и смотрел на неё будто бы удивленно, как смотрел сто лет назад, в позапрошлой жизни, всегда.

Её подтолкнули сзади, пошатнулась, Ярек подхватил, оттащил от толпы, пытался поцеловать, но между ними оказалась сирень, и он отпрянул.

– Т-ты тут...

– День свободы слова. Конференция... – слова с трудом отделялись от нёба, голос стал каким-то деревянным, чужим, надтреснутым.

– Я-я улетаю через два часа, в Варшаву, – он оглянулся.

За спиной появилась средних лет блондинка с пакетами из модного бутика.

– С-скажи что-нибудь!

– Лайза умерла. В феврале.

– К-как? П-почему?

– Рак. Я успела с ней проститься. Приехала по делам, а оказалось вот так.

– Ярощ, darling, we are late, come on! – блондинка с польским акцентом увлекала его к лифту.

– Я тебе позвоню! Напишу! – крикнул он, и двери лифта закрылись.

Нина осталась в фойе не в силах пошевелиться, с сиренью, привалившись к столбу с намалеванным кактусом. Во рту возник отвратительный металлический вкус, заломило в затылке. Нащупала в сумке блистер с таблетками, засунула под язык.

– Пойдёмте в «Метрополитен», там сегодня бесплатно пускают, и выставка Матисса! – к ней приближались две Татьяны, молодые феминистки из Белоруссии и Украины, – они время от времени встречались на конференциях, вместе иной раз убегали с заседаний в музей. Инициатором в первый раз стала Нина, дело было в Брюсселе – тогда они удрали в музей Магритта, Нина по своему журналистскому удостоверению провела всех троих через служебный вход.

– Не могу, уже опаздываю, – она помахала сиренью и вышла на улицу, слегка пошатываясь, стараясь на всякий случай держаться поближе к стене.

...Этой встречи с Яреком она ждала все последние годы. Представляла иногда, как это будет. На улице, в кафе, в самолёте или в ожидании рейса в аэропорту, весной или зимой, в жару или в холод. Она будет торопиться, он её окликнет, она выронит сумку... Или она увидит его в толпе и будет бежать за ним, как Вероника в фильме «Летят журавли», только обязательно догонит, и он её, запыхавшуюся, обнимет, поцелует в глаза, посмеётся: «Ну что же ты, глупышка, я же тут». Или они окажутся в одном поезде, в разных вагонах, и встретятся в бистро поздно ночью... Это будет непременно в пути, в движении в разные стороны, как на встречных эскалаторах. На автозаправке, на автобусной остановке в час пик... На постоялом дворе, в корчме, караван-сараяе, у подножия Дворца дождей перед наводнением... Иногда она воображала, что они встречаются в дилижансе, трясущемся по дорогам Галиции, в армейском автомобиле с флагом ООН на Синайском полуострове, в библиотеке сумрачного замка Радзивиллов, в местечке под Пинском, в сибирском шахтёрском посёлке, в храме Святого Петра, в Петропавловской крепости... Место встре-

чи имело значение, время – нет, и она представляла себя и Ярека в самые разные времена: эпоха декабристов, Павла I, революция 1905-го или Пражская весна 1968-го. Время вообще категорически отказывалось быть константой, оно имело свойство перетекать, убыстряться или замедляться в зависимости от смысла происходящего. И главный смысл был – встреча... Невероятная, практически невозможная. Как их первая встреча в Москве у Лайзы.

К Лайзе её привёл Мальчик. Это было 18 августа 1991 года. Ник Мальчик, нескладный коротышка в толстых очках, которого все немедленно стали звать не иначе как Коля-мальчик-спальчик или просто Коля Мальчик. Он появился в редакции в конце 1990-го. Приехал из Колумбийского университета по обмену как аспирант-славист и прикрепился к отделу литературы, но пропадал больше в отделе новостей, где работали в основном молодые. И немедленно влюбился в Ирку Сокол, что было неудивительно.

Маленькая, ладная, одного роста с Колей, с пронзительными синими глазами и русой чёлкой, она напоминала героинь немого кинематографа. Удивительно пела под гитару Окуджаву и Бродского, Цветаеву и Мандельштама. Коля часами мог её слушать или просто сидеть в комнате, пока она работает над материалом, восхи-

щённо наблюдая; спрашивал, что значат те или иные фразы, пытался повторять. Ирка его не замечала. Она любила заместителя заведующего отделом Лёву, давно и безнадёжно. А Лёва всю жизнь любил свою жену. Все это знали. Даже его краткосрочный случайный роман с сотрудницей отдела писем ничего не изменил.

Нина была в это время в декрете, но старалась как можно чаще появляться в отделе, брать задания, к острому неудовольствию мамы и особенно свекрови, отличницы народного образования и завуча популярной школы. В разгар неожиданного для всех служебного романа Лёвы с регистраторшей почты Ирка однажды предложила Нине прогуляться по набережной. Мальчик увязался следом.

Хотелось выпить, но было негде, и в конце концов решили распить две бутылки портвейна на набережной, сидя на лавочке. Ирка рыдала, рвалась к парапету и говорила, что не хочет жить. Тут Мальчик совершенно неожиданно вскочил, оборвал ближайший куст сирени, осыпал цветами Ирку и заявил, что если она покончит с собой, то и он тоже. И был настолько серьёзен, что все вмиг протрезвели.

«Тебе не надо, – повторяла Ирка заплетающимся голосом, теребя сирень и кроша на асфальт оборванные цветки, – ты не виноват».

Мальчик не соглашался и повторял попытки броситься в Москва-реку, Нина его удерживала. Ирка вдруг успокоилась: «Не дури. Тогда и я не буду». В ту ночь Мальчик ободрал всю сирень, которая попала им по пути.

Нина вернулась домой под утро, когда сын уже просыпался. «Ты должна определиться, – сказал муж, – что для тебя важнее, семья или твои друзья из редакции».

Они прожили потом ещё пять лет. Долгих, вместивших невероятные события и в их собственной судьбе, и в жизни страны... Могло ли сложиться по-другому? Нина иногда задавалась этим вопросом, но старалась поскорее отмахнуться от раздумий, переключиться, как будто страшилась узнать обо всех этих годах, о людях, а главное, о себе самой что-то пугающее и неприятное. Но будни и драмы редакции, большие и маленькие события того давно ушедшего мира вспоминала с ностальгической нежностью: все эти невинные попойки, споры до полуночи, обиды, мимолётно вспыхивающие и гаснущие, как светлячки, романтические увлечения коллег. На их фоне Иркина любовь выглядела, как чужеродный, прихотливый и в силу этого бесконечно уязвимый цветок, неизвестно как выросший на морковной грядке. А Лёва тем временем ничего не замечал, позволял Ирке себя любить и даже

сочувствовал ей. Он решал в это время принципиальный вопрос: жена действительно его любит или живёт вместе от лени либо просто по инерции...

18 августа 1991 года Мальчик, как всегда, когда Ирка уезжала в командировку, грустил и просил Нину, с которой у него после той самой ночи с сиренью сложились особенно доверительные отношения, помочь разобраться с каким-то текстом. Текст надо было взять у его бывшей университетской преподавательницы, переводчицы Цветаевой, – она как раз приехала в Москву на Конгресс соотечественников. У Лайзы, добавил он как будто бы случайно (хитрюга!), всегда есть отличный кофе. Нине не очень хотелось тащиться к какой-то американке, но до встречи со свекровью и совместной поездки на дачу было ещё два часа, а от хорошего кофе отказываться просто глупо.

Они приехали в дом на улице Веснина, за зданием МИД, в огромную захламлённую антиквариатом и неоконченными соц-артовскими работами квартиру. Между художественными объектами прогуливался огромный кот. Лайза в мужской рубашке до колен, с сигаретой в пальцах, униженных причудливыми кольцами, говорила по телефону, пепел стряхивала на блюдечко. В просторной кухне, куда она пригласила жестом, уже

было несколько человек. Нина узнала начинающего скандального акциониста, против последней инициативы которого (зарезал прямо на вернисаже поросёнка и раздавал куски мяса гостям) выступила с памфлетом группа художниц – текст был озаглавлен «Триумф свинства» и вызвал бурную полемику. Рядом с акционистом сидела с миниатюрным модным диктофоном Ванда из польского агентства новостей. Ванда часто приходила в редакцию узнать из первых рук о новостях культуры и готовящихся к выходу публикациях из архивов ЦК КПСС и КГБ – говорили, она подбивает клинья к главному редактору.

В кухню, едва не сбив с ног Нину, замешкавшуюся в дверях, влетел какой-то худющий тип. Отпрянул, отбросил рыжеватую чёлку, уставился удивлённо и одновременно вопрошающе.

– С-сударыня, м-мы с вами знакомы? – мягкий акцент, не американский, скорее польский или чешский, лет тридцать пять, мятая рубашка, шарф... – М-мы правда нигде не встречались?

Нина покачала головой.

– З-значит, это было во сне! – рассмеялся он. – Меня зовут Ярослав. Ярослав Осиньский, – церемонно поклонился.

– Надеюсь, в следующем сне вы меня не зашибёте насмерть, – в ответ улыбнулась она. – Нина.

Пока Лайза разливала кофе, Ярослав успел рассказать, что приехал изучать наследие Герцена, о котором писал диссертацию, собирался поехать в Киров, где Герцен был в ссылке, ожидает разрешения...

На Курский вокзал, где встречалась со свекровью, едва успела – та, в спортивном костюме и с рюкзаком, набитым продуктами из райкомовского заказа, уже нетерпеливо прогуливалась по кассовому залу пригородных электричек. Всю дорогу до дачи она пересказывала Нине недавно просмотренный вместе с подругой по видеоманитофону фильм о бедной девушке из Аргентины, которая попала прислужкой в богатый дом, была соблазнена хозяином, но в конце концов удачно вышла замуж за его племянника, красавца и владельца фабрики. Планировку дома, расположение комнат, мебель, шторы и аксессуары она описывала едва ли не более подробно и вдохновенно, чем сам нехитрый сюжет. Под конец от её восторгов и сокрушённых вздохов у Нины стало сводить скулы...

Рано утром 19 августа прибежала соседка: сказала, что в Москве путч, Горбачёв арестован, всех демократов тоже скоро арестуют, а по телевизору – «Лебединое озеро». У соседки был городской телефон, большая редкость в посёлке, а её зять, депутат, входил в Межрегиональную

группу. Свекровь побежала к соседке звонить сестре и (к неудовольствию бабушки и мамы) звать на дачу – «чтобы быть всем вместе». Нинин муж находился в археологической экспедиции на Кавказе – позвонить ему было нельзя.

По телевизору действительно без конца крутили «Танец маленьких лебедей». Бабушка заняла наблюдательную позицию в кресле у телевизионного экрана в ожидании новостей. Мама и свекровь, сохраняя спокойствие, обсуждали, что купить к обеду. Они понимали, что важнее всего придерживаться привычного ритма. Когда Нина заявила, что снова едет в редакцию, на неё только рукой махнули. Сын послал воздушный поцелуй – он с бабушками смотрел диафильмы про Маугли.

Она пошла к электричке, заметила по дороге очередь к телефонному автомату у почты; на стенде объявлений уже были припилены листовки с призывом сопротивляться путчу и поддержать защитников демократии и Горбачёва.

В редакции собрались все сотрудники, которые находились в Москве, некоторые авторы, практиканты. Главный быстро раздал задания – кому идти на митинги, кому на ТВ, кому к Белому дому. Нине поручили поговорить с участниками Конгресса соотечественников в Институте мировой литературы и заодно зайти на журфак, где

проходила международная конференция по вопросам свободы слова. Мальчик поплёлся следом. У редакционного здания уже стоял танк с открытым люком; детский поэт, ведущий юмористической рубрики, разговаривал с молодым веснушчатым танкистом.

В ИМЛИ, когда Нина с Мальчиком туда добрались, уже никого не было, все участники конгресса пошли на Манежную на митинг. Поспешили туда, встретили в толпе преподавателя журфака, нескольких зарубежных профессоров, вместе направились в уплотняющемся потоке к Белому дому. На Калининском мосту увидели броневик, на котором, почти как Ленин в фильме о революции, стоял Ельцин. Мальчик стал протискиваться сквозь толпу, фотографировать. «Встретимся у Лайзы!» – успел крикнуть.

Неожиданно Нина увидела участников конгресса – пару запыхавшихся пожилых эмигрантов, потом ещё двоих, с которыми успела познакомиться накануне на пресс-конференции, – и всех решила повести к Лайзе передохнуть, больше было некуда. Потом побежала в редакцию. Её, как и все демократические издания, уже закрыли, сотрудники искали частную типографию, срочно редактировали свежие заметки. Нина записала краткий комментарий иностранцев, отредактировала материал о журфаке и вновь поспешила к Белому дому.

Там строили баррикады из подручного материала, сновали женщины с пакетами бутербродов, термосами. Царило приподнятое возбуждённое настроение, которое передалось Нине. Пошёл дождь.

Кто-то тронул Нину за локоть: «Я з-знал, что вас здесь встречу!» Ярослав, в ветровке, с прилипшими ко лбу мокрыми от дождя волосами, горящие зелёные глаза с золотыми крапинками: «П-пойдём! Я вас п-познакомлю с моими друзьями...»

Они зашли в какой-то подвал в Девятинском переулке, где молодые люди варили кофе и слушали по радиоприёмнику прерывающиеся сообщения, измеряли кому-то артериальное давление, заполняли термосы, расфасовывали в походные аптечки медикаменты и бинты и передавали постоянно меняющимся волонтерам, потом сами носили рюкзаки с водой и бутербродами на баррикады... Стемнело, потом, когда начался комендантский час, бежали под дождём, потом оказались на каком-то чердаке, над кабиной лифта, в клубах паутины... Ярослав медленно целовал её глаза и шептал до боли знакомое:

«В-возьми на память из моих ладоней  
Немного с-солнца и немного мёда,  
К-как нам велели пчёлы Персефоны...»

Три дня до завершения путча они почти не расставались: даже когда Нина прибегала в редакцию на летучку, он ехал с ней, сидел в фойе у охраны и ждал. Почти всё время они находились в кольце у Белого дома, на Садовом кольце, где случилась трагедия и погибли трое, у друзей Ярослава, работавших лифтёрами в Девятинском, у Лайзы, где вместе с ними жили знакомые и незнакомые люди. И все слушали прерывистые сводки новостей, высунув транзистор в форточку – так лучше ловился сигнал...

Нине казалось, она знала его всю жизнь: они читали одни и те же книги, любили одни и те же стихи, тех же бардов, так же мечтали о прекрасном будущем, свободном от всего, что мешало жить... Она жадно слушала о «Солидарности», в борьбе которой Ярослав принимал участие и по этой причине несколько месяцев провёл в тюрьме, о знаменитом соглашении за круглым столом (которому как секретарь одного из переговорщиков оказался очевидцем), о первых шагах свободного рынка...

Она была в Варшаве один раз по студенческому обмену: вспоминала памятник Шопену, королевский замок, аллею Уяздовску, где находилось их общежитие, и теперь, казалось, снова переносилась на эти улицы и площади, взбудораженные обновлением, новыми надеждами.

Ярослав преподавал в университете, писал книгу о польских и русских революционерах XIX века. Кроме архива Герцена, своего кумира, он надеялся разыскать в Москве тётю по матери, которая, по его сведениям, должна была приехать на Конгресс соотечественников. Тётю он никогда не видел. Она родилась в Англии, в лагере для перемещённых поляков, участников Армии Крайовой, сразу после войны, потом вместе с родителями эмигрировала в Америку, где стала видным психиатром, участником международных форумов – так Ярослав и напал на её след.

Его мать была двенадцатью годами старше сестры, она осталась в Варшаве с бабушкой, пережила все ужасы оккупации, чуть не погибла во время бомбёжки, а своих родителей так больше никогда и не увидела. Это она приобщила сына к русской поэзии и литературе, знала наизусть огромное количество стихов. Называла его не Ярек – Ярощ...

Вечером 21 августа они обнявшись стояли в толпе у Белого дома, над которым алел закат. Лучи уходящего солнца падали на шпиль гостиницы «Украина», набережную, Калининский мост, стены зданий в начале Кутузовского проспекта – она удивилась, каким невероятно красивым и гармоничным оказался город: ни одной

лишней линии и скрытая мощь в каждом камне, в каждом изгибе... Люди в толпе тоже были невероятно красивыми, особенными, она никогда раньше не видела таких одухотворённых, осмысленных и прекрасных лиц. Ни одного уродливого, перекошенного или смазанного...

«П-понимаешь, это п-победа, – шептал он ей. – Боже мой, п-победа! – Повернул к себе: – Р-революционерка моя!»

Елена и Инсаров. Это в юности были его любимые герои. Может быть, потому, что у его деда, участника польского восстания, высланного в Сибирь, была русская возлюбленная, молодая учительница, дочь управляющего шахтой. Она увлеклась революционными идеями, и лютой зимой они вместе бежали с приисков; по дороге она простудилась и умерла, а дед добрался до Петербурга, где сблизился с анархистами, был снова арестован, потом бежал в Европу...

Ярек, Ярощ... Проснувшись, он говорил с ней по-польски. Его бывшая жена (или не бывшая?) носила ему в тюрьму любимые книги на русском языке.

Тётю он так и не нашёл – видимо, в последний момент она отменила поездку в Москву.

25 августа Нина провожала его на вокзал, оцепеневшая от самого факта, что он вдруг уезжает. Ярек был в мыслях уже где-то далеко, об-

нял на прощание, крикнул уже в подножки: «Д-до скорого!»

В редакции в эти дни совершалась собственная революция: коллектив сменил редактора, перестраивалась вся работа. Лёва, Ирка и Нина стали неожиданно членами редколлегии, пару раз даже ночевали в редакции, устроившись на диванчиках у приёмной. В соседней редакции сотрудники устроили голодовку против старого руководителя. Всюду кипели перемены, возникали новые проекты, начинались первые судебные процессы против участников путча...

30 августа из экспедиции вернулся Нинин муж, загорелый, довольный. События в Москве, казалось, его совершенно не волновали – интересовали, по крайней мере, куда меньше, чем взаимоотношения правителей древнего Дербента. Нина впервые сформулировала для себя отчётливо: они стали чужими.

Через неделю он неожиданно засобирился в новую командировку. А ещё через некоторое время ей позвонила незнакомая женщина, представившаяся Элиной, и сказала, что у них всё серьёзно, уже три месяца, и что она всё равно уведёт у Нины мужа, потому что моложе и готова рожать много детей.

Нина с облегчением подала на развод, нисколько не внемля увещаниям свекрови,

мамы и бабушки. Она ждала звонка Ярека. Ждала письма.

Несколько раз с Мальчиком заходила к Лайзе, спрашивала между делом, нет ли вестей от него. Лайза ничего не знала.

В редакцию пришла Ванда – узнать, где можно найти материалы о решениях ЦК КПСС в поддержку польских писателей, дружественных СССР. Вскользь обронила, что Ярослав собирался в Москву, но не смог, жена тяжело заболела, кажется, сложная беременность...

Через семь лет в Калифорнии, на конференции, посвящённой демократии в Европе, Нина выступала с докладом о женщинах в постсоветском пространстве. Это была уже не первая конференция: после того как они с Ирккой сделали фильм «Эхо войны» о солдатских матерях, об ассоциации чеченок и россиянок и получили два международных приза, их стали приглашать на самые разные форумы в ООН, в университеты.

В Калифорнию позвала новая знакомая, профессор славистики с польскими корнями: она гордилась тем, что уговорила приехать главного редактора лучшей польской газеты, легендарного Адама Михника, в которого, кажется, была тайно влюблена, как, впрочем, очень многие славистки. В первый же день конференции Нина увидела Ярека – оказывается, он получил в этом

университете стипендию и пришёл послушать. Их бросило друг к другу с той же силой, что и в августе 1991-го.

На приёме в свою честь Михник, рядом с которым, помимо хозяйки праздника, крутились две молодые женщины, вроде бы полька и русская, подошёл к Нине с бокалом, поздравил с выступлением и предложил попозже обсудить в баре отеля её будущую публикацию. На них смотрели. Почувствовала, как замер с бокалом в руке Ярек. Нина с улыбкой отказалась, сказала, что занята, и заметила, оглянувшись, как изумленно смотрит ей вслед легендарный журналист...

Десять лет она жила короткими встречами: Санта-Круз, Нью-Йорк, Загреб, Краков, Москва, Париж, Берлин... Какой-то сумасшедший международный роман, пунктирный прыжок в инобытие, параллельный мир, в котором оба, похоже, искали какое-то особое освобождение и торопились сказать друг другу всё, не совсем слушая, и торопились выпить друг другом, как в последний раз... Ярек на два года получил работу в Бостоне, Нина – стипендию на полгода в Вашингтоне, но заболела мама, сын переходил в новую школу, приходилось мотаться домой, и встречи снова были короткими...

Чаще всего они встречались в Варшаве. Почему-то Нине всё время, даже когда она оставалась у него дома одна и он просил отвечать на телефонные звонки, казалось, что другая женщина вот-вот их застанет и всё разрушит. Она разлюбила Варшаву, не хотела туда ехать, не хотела видиться с его знакомыми и коллегами, которые, как ей представлялось, неизменно смотрели на неё с неким подозрением...

Бывший муж погиб под лавиной, как раз когда Нина была в Варшаве. Свекровь в то время уже умерла, новая семья настояла на похоронах в Махачкале. Нина с сыном стояла у гроба рядом с многочисленными дагестанскими полуродственниками и вдруг подумала, что, если бы она с ним не развелась, он остался бы, может быть, жив...

Сын-подросток называл Ярека Полонезом Огинского: «Снова твой Полонез Огинского звонил, просил вечером набрать попозже». К Яреку сын относился явно иронически, ему был куда больше по душе Витя, бывший однокурсник матери, который поселился у них после очередного своего развода, отремонтировал квартиру, возил Нинино сына вместе с собственной дочкой от первого брака на теннис и громко барабанил на пианино попури из современных европейских шлягеров.

Когда однажды Ярек сказал, что собирается на пару недель в Москву, Нина попросила однокурсника освободить комнату. Впрочем, Ярек тогда не приехал, что-то случилось. Не приехал и потом. И не звонил.

Нина о нём не спрашивала. Кто-то из знакомых через некоторое время сказал, что он снова женился, кажется, на американке. Это было на похоронах Ирки.

Ирка так и не справилась со своей любовью, она искала успокоения в командировках в горячие точки, на Кавказ. Много писала, причём блестяще – необычно, нарушая правила профессии, слишком порой эмоционально, но именно так, что люди поднимались с дивана и начинали действовать: собирать средства для беженцев, искать пропавших... И не только писала. «Солдатские матери» стали постоянными гостями в редакции, Ирка снаряжала экспедиции, сама ездила с ними, ползала под обстрелами, спасала детей из-под завалов, вместе с учительницей-странницей Эльвирой Горюхиной учила русскому языку в разрушенной школе в горном ауле... Их общий с Ниной фильм «Эхо войны» стал событием и принёс деньги. Но не успокоение Иркиному бедному сердцу. Находила его в вине. Вероятно, ей вообще нельзя было выпивать – не раз и не два в ре-

дакцию вызывали «скорую», потом положили в клинику, вроде бы подлечили...

Она, загрузившись лекарствами, снова рвалась в командировки. Лёва (он стал уже заместителем главного редактора) помогал собираться, всегда давал свою машину доехать в аэропорт и отправлял водителя встретить.

Иркино сердце остановилось среди бела дня по дороге из Моздока во Владикавказ. Она везла с собой девочку-подростка, дочь погибшей правозащитницы, о которой много писала. Девочку хотели выдать замуж против воли, потом её всё же забрали родственники...

Конечно, Ирка знала, что ей лучше не ездить в рискованные командировки. До первой чеченской войны она никогда не бывала не то что на Кавказе, но, кажется, даже за пределами Московской области.

После смерти Ирки в редакции что-то надломилось. Лёва перешёл на другую работу – в развлекательный глобальный холдинг. Ещё несколько человек ушли к конкурентам. Нина стала работать в проекте по защите прав женщин-журналистов. Первую свою презентацию на европейском форуме она посвятила Ирине Сокол и другим не посчитанным глобальной статистикой коллегам – жертвам конфликтов. Новая работа захватила целиком, наполнила

неожиданным смыслом и удовлетворением от небольших, но конкретных практических результатов. Она познакомилась с правозащитниками в России и других странах, участвовала в сборе материалов о погибших коллегах, в конференциях и судебных заседаниях, встречалась с самыми разными людьми, писала запросы правоохранителям и заметки в свою бывшую газету, где стала вести собственную рубрику. Сняла документальный фильм о журналистках – военных репортёрах вместе с голландским коллегой, с которым уже после премьеры они стали встречаться.

Эржан, босниец по происхождению, был на пять лет моложе и оказался идеальным партнёром – любовником-товарищем, не предъявляющим претензий и радующимся каждой встрече, как настоящему чуду, о котором мог забыть в любую секунду, когда того требовала работа. В Сараево он потерял всю семью и мотался по горячим точкам мира.

Несколько лет старая редакционная компания собиралась в день рождения Ирки, потом ограничивались телефонными звонками и сообщениями в мессенджерах. Иногда Нина думала, что бывшие коллеги как-то смущаются, подсознательно бегут от этих встреч, как от напоминания о чём-то несостоявшемся, о личной болезненной

неудаче... Хотя, конечно, все были достаточно неплохо устроены и «упакованы».

Неизменными остались только встречи с Мальчиком – в России, куда он иногда приезжал вместе с группами студентов, изучающих русский язык, и в Нью-Йорке, когда Нина оказывалась там на конференциях по свободе слова.

Мальчик ждал её в их привычном месте, на Саут-Ферри, у выхода из метро. Он немного погрузнел, ссутулился, но взгляд близоруких голубых глаз был всё тот же, пристально-изумлённый.

– Ты опоздала...

– Прости, неожиданно встретила старого знакомого, – извинилась Нина. – Пошли.

И вручила ему сирень.

– Нам в другую сторону, – мотнул головой Мальчик. – Они перенесли памятник. На место нового Международного центра.

Они пошли мимо строительного камуфляжа назад, к центру острова, взобрались по стерильно чистым новым ступеням на красивую площадку, где была водружена знакомая металлическая скульптура-сфера, извлечённая – покорёженной и с пробойной – из-под обломков башен-близнецов... Мальчик медленно подошёл и положил сирень. Они обнялись и долго стояли, прижав-

шись друг к другу, как будто стараясь защититься от всего и всех.

– Мила ушла, – сказал он. – Я думаю, к лучшему. Она со мной не была счастлива.

Мила – жена, и двое детей у них.

– А Дэни? Кира?

– Остались со мной, мы решили, что им так будет проще, – пожал плечами Мальчик. – Они сами об этом попросили.

– Но как же?..

– Дэни уже в шестом классе, он отлично играет в шахматы. А Кира просто молодец. Не волнуйся, у нас все ОК!

– Приезжайте вместе в Москву! У меня на даче отлично, ты сможешь в библиотеку ездить, а дети со мной! У моего сына отличная девушка, будущий врач, им будет весело. И места много.

– А что, хорошая идея, они никогда не были в России, надо попробовать, – загорелся он. – И к тому же со всеми ребятами увидимся! Как раз будет 30 лет путча. Кстати, что о нём пишут сейчас?

– По-разному. Ты не поверишь: теперь по телевизору выступают путчисты и им дают слово в прайм-тайм...

– Тут тоже всё изменилось, ты знаешь... Кстати, а как Ярослав?

– Давно его не видела...

Мальчику позвонили, кажется, из школы, он заволновался:

– Надо срочно ехать... Такси!

Нина уже остановила машину.

– Передай ему привет, когда увидишь! – крикнул Мальчик. – Скажи ему, что он настоящий!

Нина улыбаясь, махала рукой вслед. Мальчик неисправим. А впрочем, кто исправим?

Она медленно шла к метро, продолжая улыбаться. Вспоминала ночную Москву, парапет на набережной, запах портвейна и сирени, поцелуи Ярека и паутину на чердаке в Девятинском... Взрывы, горящий Белый дом, раненых, чеченских и русских женщин у лаборатории в Ростове-на-Дону, Ирку с девочкой-чеченкой, рюкзак свекрови, диафильмы про Маугли, старую редакцию и новую работу в офисе бывшего информцентра Московской Олимпиады...

Она шла и плакала, на неё оборачивались – это не имело значения, она плакала и улыбалась... Весь Манхэттен с его огнями и блеском шумел вокруг и отзывался в сердце, и окликал такую же шумную и пёструю Москву и весь мир, раздираемый ужасом и болью, но всё равно невысказанно прекрасный, как и незаслуженное счастье жить и ощущать его бесконечное величие...

В фойе гостиницы, как обычно, выстроилась пёстрая очередь к лифту. Нина пристроилась в хвост. К ней подбежал портье:

– Мэм, вам просили передать... – он торжественно вынес из-за стойки букет сирени. – Это вам!

Нина замерла.

– И вот это, – портье протянул сложенный пополам листок из блокнота.

Она развернула. Знакомый почерк, строчки слегка уходят вверх и влево: «Возьми на память дикий мой подарок, невзрачное, сухое ожерелье...» «Из мёртвых пчел, мёд превративших в солнце», – вслух продолжила она. И долго сидела, отодвинув штору и всматриваясь в движение на Лексингтон-авеню.

---

## НЕВЕДОМАЯ СИЛА

«**А**ркаша, Паша, Самвел, Армен... Никого нету, никого. У Паши и Армена и могил-то нет, тундра якутская и карабахское ущелье. А к другим не попадешь... Я с ними разговариваю иногда. Вот позавчера Пашу видела во сне, он такой был виноватый, прощения просил, в нашем хозяйстве стоял, с поросятами, в ветровке, которую я из Польши привезла, такой большой, красивый, как телёнок... Я ему говорю: зачем же ты тогда уехал, грёбанный орёл, тараканья башка, я бы простила, наладилось бы...»

Всхлипнула, утёрла слёзы кулаком. Полезла в сумку, достала бутылку из-под текилы с оторванной наклейкой: «Узнаешь? Твой подарок, хорошо пошёл тогда. Не, это мне Стасик с Эллой из Турции привезли: ракия, говорят, самая лучшая. Ну как чача. Да не ссы в компот! Понимаю, что у тебя работа. У всех работа. У тебя ещё полчаса есть. От ста грамм ничего тебе не будет, зажуёшь. Давай выпьем за наших мужиков, пусть земля им будет пухом...»

Достала привычным движением рюмки из кухонного шкафа, разлила: «Пусть земля им будет пухом...»

Валентина появилась давно. В этом году ровно двадцать лет. Только что умер мой муж. Бывший. Но бывшие – это про живых. Мёртвых бывших не бывает. Тогда я этого ещё не понимала. Знакомая, главный редактор политического еженедельника, которого уже давно нет, прислала мне свою помощницу по дому. В квартире был дикий бардак, незаконченный ремонт; сын – подросток, я всё время в командировках. Первое, что помню, – Валентина создала в общей комнате зияющую пустоту: мои бумаги и книги были разложены по цветам и форматам, некоторые важные заметки я извлекла из мусорного ведра. Майки и колготки рассованы по дальним ящикам, а модельные туфли свалены, как тапочки, в целлофановые мешки. Надо было расставаться. Но знакомая убеждала не торопиться, мол, я ещё пойму. Честно говоря, мне было не до того, и я убедительно попросила Валентину никогда не трогать мои личные вещи и особенно рабочие материалы. А через месяц, накануне 9 Мая, у неё в Луганской области умер отец. И она туда поехала. До этого я вообще не знала, откуда она и кто такая. Валентина и Валентина.

Ворошиловград стал частью нашей жизни в 1989 году, когда читатели «Литературной газе-

ты», молодые инженеры секретного оборонного завода, выдвинули любимого журналиста, моего мужа, в народные депутаты, чтобы не победил надоевший всем ставленник партноменклатуры, секретарь обкома КПСС. Намечались первые частично свободные выборы. Муж никогда раньше в этом городе не бывал. Поехал, влюбился в молодых энтузиастов перестройки, выиграл... Два года постоянно приезжали и жили у нас люди из Ворошиловграда (он вскоре вернул историческое название Луганск) – молодые политики и историки, правозащитники и коллеги-журналисты. Муж навещал своих избирателей каждую неделю. И я наезжала, но, конечно, реже. Писала для журнала, где работала тогда, о неизвестных страницах истории «Молодой гвардии». В числе новых реабилитированных жертв сталинских репрессий оказались две «предательницы» из романа, Вырикова и Лядская, – на самом-то деле, они были совершенно ни при чём. Я встречалась с обеими... Валентинин родной Суходольск находился совсем недалеко от Краснодона.

«Мыть полы меня папка научил. Царствие небесное... Папка в армию ушёл, когда мне было три года. Вообще, шахтёров особенно не забирали, но его вот взяли. Отслужил (тогда на три призывали) да и вернулся. Мамка на работе допоздна, она начальница была всю жизнь, по

снабжению, – одна из нашего Суходольска закончила Плехановский институт. А отец вернётся со смены и меня, шестилетку, гоняет: почему углы грязные? Тебя бы в армию! Видно, ему там досталось. Научил и мыть, и протирать. И мне понравилось. У бабушки мыла – не у городской, польской, а у другой – под Волгодонском, в селе. Обычно деда привезут после работы на... как это... на бричке, тогда на лошадях ездили... Он директором хлебозавода был: каждый вечер с мужиками через ресторан проезжали – некондиционный хлеб продавали официанткам. Пили до усрачки. Выгрузят деда в кусты около калитки, он часок полежит, потом встанет, зайдёт и кричит: “Морька, давай борща!” У бабушки всё уже готово. Поест – спать ложится, значит, часов в восемь. А в четыре проснётся – и по хозяйству: козу накормит, гусей, кур. Всё сделает – и на работу, бричка прикатит. Нагрязнит, конечно. А я проснусь – и мыть. У бабушки гипертония была, ей тяжело, я её жалела. Любила эту работу. А если бы нет, что бы я делала? Ты бы смогла делать то, что не нравится? То-то же. Двадцать лет нелюбимым делом зарабатывать – не понимаю, как это можно... Когда ресторан мой тут спалился (а я с украинским паспортом и дитём), вспомнила, как углы драить. Едрить твою! Когда работала-то, сама человека нанимала. Спасибо папке.

Намахалась я, конечно, но справились: вот, живы и Стасик, и я; ипотеку почти выплатили...»

Разговаривать с Валентиной мы стали не сразу, примерно лет через пять. До этого я чаще всего просто оставляла деньги на кухонном столе, она приходила утром со своим ключом и торопилась на другую уборку, после обеда. Точнее, сначала она стала разговаривать с моим отцом. Когда он заболел и я его перевезла к себе, отец Валентину принципиально не пускал в свою комнату – не любил, когда прикасаются к его лекарствам и вещам. Как-то я пришла и увидела, что она с мокрой тряпкой в руках сидит у его двери, а отец перед ней на табуретке, и плачут оба... Уже после папиных похорон Валентина рассказала, как он вспоминал лагерь, этапы, лазарет, куда попал под начало профессора – австрийского коммуниста... Какие-то детали, о которых нам с сыном никогда не говорил. Недавно работала дома, а она в бывшей отцовой комнате надолго пропала – я даже подумала, что потихоньку ушла не попрощавшись.

«Ильинична, а я всегда, когда прихожу в его комнату, здороваюсь, спрашиваю, как он там... И он мне будто бы улыбается...»

Летом 2014 года она засобиралась в свой Суходольск. Не поехала – шли бои. Бывший одноклассник сына отправился на каникулы к бабушке

в соседнюю деревню, и его убило. Сын с друзьями рвался поехать мстить, их еле удержали. Каждый день звонили знакомые и соседи, рассказывали, как спасались и пытались спасти нажитое. Валентина делилась: «Кум с зятем нагрузили машину под завязку, махнули через лесочек, а кругом поля, только вспахали – так на руках пердолили через поле... Куркули, конечно... Ну а как тут всё бросишь? Всё, что нажили? Тудыть твою налево... В 1990-е всё потеряли, потом пирамиды эти, дефолт, потом ещё...»

Валентина пристраивала беженцев. У неё обнаружился какой-то невероятный круг знакомых, чьих-то родных; без конца кого-то с кем-то соединяла, вразумляла, успокаивала. Переходила с русского на украинский, как-то – даже на польский; и голос звенел... Командирша! При этом неукоснительно расчищала пространство, нороя выкинуть всё, что криво лежит. Половину вещей, включая совсем новые, с бирками из разных магазинов и разных стран, я отдала тогда для всего её нагрянувшего выводка...

Красный лак неизменный («Чтобы я ходила куда-то маникюр-педикюр делать? На хрена? Пустая трата денег! Я сама»), помада, укладка в любую погоду, удобная обувь, непромокаемая куртка или плащ. В ящике под раковиной аккуратно сложена рабочая униформа: лосины, футболка, перчатки.

Если в доме ощущение пустоты и пространства – значит, Валентина была...

За работой, если никого нет, поёт. Казачьи или украинские. Иногда включает запись Кубанского хора. Знает всё про любого артиста. Но и у самой голос отличный, молодой.

«По Дону гуляет, по Дону гуляет, по До-о-ону гуляет казак молодой...» Захожу, она меня не слышит. Сидит в гостиной на полу, в руках фотография мужа – только что пыль с неё протерла: «Ну что, Петрович, что скажешь? Такого ли ты ждал? За то ли боролся? Бедный мой... Дай-ка я тебе ещё спою...»

Книг мужа, которые я ей дарила, она не читает. Мои и всех других знакомых – тоже. Не скрывает этого. Надписями дорожит. Помнит, кто и когда надписывал, при каких обстоятельствах. И обо всех вспоминает, особенно об ушедших – о своей первой нанимательнице в Москве, о Наталье Крымовой, о Валерии Новодворской... Перечитывает Сергеева-Ценского, Гоголя почти всего знает наизусть – декламирует с выражением, артистично.

«Я в драмкружке в школе была первой, хотела даже в театральный поступать, было дело, но пошла за мамкой, в общественное питание. В 17 лет – уже в цехе, в институте параллельно... Через три года заведующей стала, потом на повышение

пошла, в область. Технолог высшей категории... Любила работу, любила...»

Мы как-то незаметно стали регулярно пить вместе чай, а иногда и что покрепче, когда приходило время кого-то помянуть.

«Сегодня у Аркаши день рождения. Было бы шестьдесят. Он меня со школы любил. А я шальная, с мальчишками бегала, купалась, дралась, никому спуску не давала. Училась на отлично. Видимо, застудилась на речке – детей долго не было. Его мать Руфь Абрамовна, гинеколог, сказала, что вообще не будет никогда. Из-за неё и развелись: я уехала в Нерюнгри налаживать общепит на БАМе, а он в милицию пошёл, стал потом начальником райотдела. Через несколько лет – я уже на седьмом месяце – с Раззаевым своим иду (в гости к мамке приехали), и Аркаша навстречу, тоже с бабой беременной. Меня увидел – чуть в обморок не упал, аж пошатнулся. Дочку Валентиной назвали, она в начальной школе три года в одном классе с моим Стасиком училась, пока мы не переехали окончательно... Хороший Аркаша был мужик. Ленка, его жена, глупая, жадная, нехорошо жили. Но он порядочный, не гулял. Говорил: давай, как дети подрастут, снова сойдёмся. Не забывал. Однажды приехала (уже в Польше работала, надо было товар быстро продать) – он мне помог на рынке у самого входа

киоск взять, выручил. А вскоре его застрелили: из автоматов залётные бандосы изрешетили всего Аркашу и напарника... Тогда криминал у нас был: и оперов стреляли, и просто случайных людей – на кладбище места не хватало. Теперь там укрепления. Аркашина дочка вместе с Ленкой – в Израиле, уже армию отслужила, замуж вышла... Раньше-то мы вместе с Ленкой на могилку ходили, поминали... Давай за светлую память... Да не надо твою текилу! Мне тут из Еревана Арменчиков племянник коньяк привёз – не то, что в магазине, прямо с завода...»

Замужем Валентина была четыре раза. Это официально. Я иногда их путаю: кто был карабахский ополченец, кто бандит, кто мент, а кто – просто недотёпа. Со всеми рассталась сама.

«Да чтобы я за мужиком гонялась? Никогда! За мной гонялись – да. Арменчик из-за меня свою жену бросил, на развод подал. Не успели пожениться. А то жила бы в Ереване. С мамой его подружились, она меня долму научила готовить и цукаты. Цукаты я не любила делать, долго. Мы вместе помощь после землетрясения возили: я – продукты, он – технику; там и познакомились. Потом Карабах – туда тоже возили; как-то открываю багажник – а там автоматы... Обстреливали нас, бывало, но нам везло. И его ребятам. Ничего не боялся, ухаживал красиво, смелый... От

меня доставалось, конечно. Как-то мне не понравилось, как он меня с днём рожденья поздравил (дело было в мотеле, в горах); я в красных сапогах – так этим сапогом его лупила! А он успокаивал, потом через плечо меня перекинул, несёт в номер – а я его лупщую. Любовь у нас была красивая. Лежит Армен мой в ущелье, ветер размёл, что осталось. Взорвали вместе с машиной, с ещё тремя армянами, на перевале...

Не боялась тогда, и вообще не боялась, ни в Армении, ни в Якутии (меня ведь хотели в Афганистан сначала отправить, а вместо этого – на БАМ), ни в Польше. Куда только меня не заносило! А как ещё? Надо было Стасика поднимать, надо было деньги зарабатывать, вкалывать, мамке помогать. Алименты от Раззаева я отказалась получать. А мамка, оказывается, подала от моего имени и получала, пока я в Нерюнгри была. Сестру мою младшую в музыкальную школу за эти деньги водила. Стало совсем туго в 1990-е: шахты закрылись, мужики без работы, криминал. Столовых тоже нет – мамку на пенсию отправили. Стасика одноклассники со шпаной связались... Все деньги, которые я в Якутии заработала, пропали – а там на три машины было. Золото никто не покупает. Я, кроме денег, из Нерюнгри мужа нового привезла, Пашу, моложе меня на восемь лет. Два метра ростом, ручищи – всё умел.

Любил меня очень, у всех мужиков отбил. Стасик его папой называл. Работающий. Перепёлочкой меня называл. Он в карты играл профессионально – запретила ему играть под страхом развода. Однажды увидела, с мужиками в домино режется – руку чуть не сломала. А работающий! Бычки, поросята – всё у него спорилось...

Но играл! Бывало, обыграет всех наших мужиков, все зарплаты, обручалки с них снимет... Бабы – ко мне с воем. Так я об его башку деревянные счёты – помнишь такие? – обломала... Стала ездить челночить. Пока ездила, моя сестра с Пашей перепихнулась по пьяни. Я их обоих выгнала, прокляла, пожелала ему сгинуть в своём Нерюнгри. И он «пешком по шпалам» без паспорта пошёл... И сгинул – никто не знает как и где... Кто говорит, замерз, кто – картёжники зарезали... Ни следа не осталось. Он детдомовский был... Помянем!

Когда решила уехать в Москву, никто не понял: куда ты, говорят, у тебя квартира, хозяйство. А меня... меня как будто подхватило что-то, неведомая сила какая-то. Мы даже не собирались: с маленькой сумочкой и со Стасиком на автобус – и в Москву. Сняли комнату в Сокольниках, никого не знаю. Стою в Лужниках, торгую с рук джинсами. Подходит дама такая интеллигентная, из сумки – программка театральная...

Сцепились языками, она спросила, умею ли пиццу готовить – хотела кафе при театре организовать. Открыли кафе за месяц, всё наладили. А потом и ресторан... Какие люди к нам заходили! Народные артисты, народные депутаты, журналисты... И твоего видела однажды – с военными приходил... А я угощаю, прислушиваюсь, включаю Станиславского – и сцены из последнего спектакля наизусть! Режиссёр – он покойник уже – приглашал сниматься. Говорю: я бы с радостью, но к вам в группу путь через ваш диван, а я всегда только по любви. Смеялись от души... Если бы не кинули нас тогда, был бы лучший ресторан в Москве...»

Никогда не видела её унылой или подавленной. Сердитой – да. Яростной, как фурия, – да. Два года не разговаривала с сыном, когда её обидела невестка. Все уговаривали смягчиться, но она выдерживала паузу. Сын за это время похудел вдвое, начал к кардиологу ходить. Теперь дружат. И то, что внуков не родили, простила.

Последний роман, совсем недолгий, случился у Валентины, когда мы уже были знакомы. Она уехала к нему в Ростовскую область: продавать дом и перевозить жениха в Москву. Он умер от восторга. В полнолуние. В полнолуние с ним вообще происходили странные вещи: или уходил из дома и потом не помнил, где и как оказался,

или начинался страшный жар. Или, к алкоголю безразличный, вдруг напивался до реанимации. Накануне последнего приезда Валентины аккуратно убрал квартиру, приготовил праздничный стол, зажѐг свечи, разлил шампанское по бокалам, подготовил все документы для переезда, да так и остался сидеть в кресле бездыханный, задохнувшийся от внезапного сердечного приступа – там и нашла его Валентина. Мать его из Запорожья приехала, увезла хоронить.

«Я вообще мужиков любила, когда молодая была. Любовь – это секс, конечно. Гормоны, драйв. Секс любила. Радость жизни. Не предохранялась никогда. Аборты? Да ни в жизнь! И никому из девчат своих, с кем в столовой работала, не советовала. Только одной, у которой мужа убили; да и анализ показал, что ребёнок не жилец. Отличная повариха была. У нас ведь тогда в цеху – никаких кондиционеров: девчата в обморок падали, приходилось иногда самой подменять. Сниму каблуки, костюмчик скину – и “к мартену”. Потом выйду, причёску поправлю, каблочки цок-цок – и я снова директор.

Чуйка у меня была, когда проверяющие придут. Стою у раздачи, вижу – становятся в очередь двое. Наверняка они. Быстро в цех: девчата, срочно меняйте лотки, котлеты по ГОСТу херачьте! По ГОСТу – 180 граммов, а они по 120 делали.

Быстро наладились. Проверяющие пока хвост отстояли – на разносах уже нормативные котлеты... Не знаю, откуда я их опознавала. У меня польская бабка была наполовину цыганка, меня кой-чему научила в детстве – заговору, чтобы ребята на ссались. Я только один раз попробовала – получилось, но больше не стала. Не буду рассказывать, не надо. И гадать училась... Вижу иногда по глазам, что с человеком будет. Сколько проживёт. Но говорить не люблю об этом... А мне бабка предсказала, что я с того света вернусь».

Первым страшный диагноз поставил Валентине мой отец, успел связать со своими бывшими коллегами-врачами. Лучший гепатолог Москвы взялась лечить её бесплатно, несмотря на отсутствие российского полиса (гражданства Валентина, родившаяся в Ростовской области, ждала несколько лет). Гепатит С и цирроз – результат инфекции, занесённой ещё в 1990-е в ростовской больнице. Не хотела лечиться. Сын Стасик вместе с моим сыном буквально силой запихнули её в клинику. Оттуда через месяц Валентина вернулась неузнаваемая – похожая на жёлтый дрожащий скелет, но с новой печенью. И с двумя десятками новых знакомых – соседки по палате, медсёстры, члены сети пациентов, которые ожидают трансплантации или реабилитируются после пересадки. О том, с какой стойкостью и неукротимым

оптимизмом Валентина преодолевала болезнь и её последствия, врачи до сих пор рассказывают своим студентам.

Через полтора месяца после выписки она приехала в гости. Через полгода попросилась на работу, хотя необходимости никакой не было: сын устроился в престижную фирму, хорошо зарабатывал, себе и ей взял в ипотеку по квартире в ближнем Подмосковье. И с гражданством наконец утряслось у обоих.

«Без дела не могу. Ресторан уже не открыть – силы не те. Кофешопы, танцы-шманцы не по мне. И на “детей” надо копейку заработать...» «Детями» она называла своих котов и пса.

После операции я заметила в Валентине новое качество: она не могла спокойно смотреть на бездомных животных. Покупала дешёвые сосиски, чтобы накормить каждого, кто попался на глаза. Взяла домой замерзающего кота, потом выходила ещё одного, подружилась с хозяйкой ветеринарной клиники и подкупила тамошнего санитаря – чтобы, вместо усыпления, продал ей отбракованную собаку. Теперь её распорядок дня подчинён режиму животных. Все соседи зовут на помощь, когда надо найти хозяина заблудившегося пса или пристроить «потеряшку». Как-то пришла с оторванной пуговицей, перепачканная, кровь на варежке, глаза горят. Оказывается, под-

ралась: увидела, как подростки на остановке обижают бесхозную собаку, разогнала обидчиков и вызвала полицию. Ничего подобного раньше не было.

– Кому сказать, что с кошками вместо мужиков буду спать, не поверили бы лет двадцать назад. Мужики мне теперь – ни-ни. Наверное, моя печень раньше была у какого-нибудь зоозащитника. Часто об этом думаю. Но, значит, так надо. Иногда думаю: что он был за человек? Я ведь в больнице просила у бога меня взять – сил больше не было терпеть. Три раза. Готова была. Не захотел. Что-то ещё не сделала... Значит, надо терпеть...

– Ну, про мужиков не зарекайся, Валентина! Кто тебя знает!

– Та ни! Баста!

– Стасиков отец вот тебе подарок на день рождения прислал, телевизор.

– Который был ему самому не нужен. С Раззаевым у нас не заладилось, жаль. Но он с одной бабой никак не мог. Мусульманин. С ним я отношений не поддерживаю. А Стасик – в контакте; и с дочками переписывается всё время: одна в Турции, другая – в Берлине, умные девчонки.

– А этот, который тебе всё названивает? Из Минска. Которого ты костеришь.

– Сеня? Да тот шестёркой был у Самвела. Всё ко мне подкатывал, когда Самвел уезжал, цацки пытался дарить. Я, помню, однажды швабру о него сломала – он потом челюсть зашивал, пидор лохромогий... Нашёл меня в социальной сети, я ему сдуру телефон дала. Поговорим, предлагает, вспомним Самвела. В Минске живёт: брюхатый, лысый, охуинная голова на змеиной шее, ножки как спички. Жена на пятнадцать лет моложе, с ним не спит, так он меня домогается. Пока что онлайн. Сиди, говорю, в своём Минске на жопе ровно и не рыпайся, ко мне и не вздумай зарулить. Не ссы, что называется, в компот. Полетишь, как тогда в Нерюнгри, все ступеньки пересчитаешь. Самвел-то был настоящий бандит, вор в законе, но такой мужик гарный, яркий, пел. Мы с ним на два голоса как затянем! Он казачьи песни знал хорошо – в Ростове вырос. Самвел меня научил пить. Говорил, надо уметь пить и «Наполеон», и брагу, и самогон, тогда ты сможешь со всеми найти общий язык... А Семён шелупонью как был, так и остался... Самвела уже тридцать лет нет, кореша всё ищут, кто его заказал, я с ними связь не держу давно. Я от него ушла, когда Пашу встретила. Вот была любовь у нас! Прощлая жизнь. А этот, тля подмудная, всё хорохорится, едрить твою... А иной раз жалко его – на расстоянии, конечно. Думаю, почему жалко?

Какая-то неведомая сила не даёт обозлиться, сама не знаю...

Поругались с ней как-то. Из-за «Молодой гвардии». 2019-й, я только что приехала из Киева, снимали для фильма интервью моей старой героини, лжепредательницы из романа, Ольги Александровны Лядской. 94 года. Почти ничего не видит, но та же ясная голова и чёткая речь, как 30 лет назад. Рассказывает на камеру, как видела бесконечные ёлки и сосны, такие красивые, когда ехала в лагерь; как во время Кенгирского восстания её с Ференцем обвенчал католический священник, хотя она была православная, но Ференц, католик, настоял; как потом её, уже беременную, закинули в ров перед самыми гусеницами танков, когда восстание подавляли; как двигались шестерёнки, под которыми погибли её подруги, вышедшие навстречу танкам... Я знаю эту историю, писала о ней. Говорила об этом и дочка Ольги Александровны Лена, когда-то участница избирательного штаба моего мужа. Но я впервые услышала о красивых соснах, о шевелящихся гусеницах, о том, какой голос был у ксендза...

Рассказываю Валентине о встрече, о том, как роман сломал судьбы людей, ведь Вырикову и Лядскую арестовали уже после выхода книги, после того как Фадеев воспользовался конспектом

НКВД. Об ошибках, о Стахевиче-Третьякевиче, о котором писал мой старший коллега Ким Смирнов, и того реабилитировали посмертно во время оттепели...

Валентина не согласна, она считает, что в романе всё правда, помнит, как Валя Борц приезжала и обличала подлых предателей, как Елена Кошечкина встречалась с молодыми специалистами на приёме в области, как грамоту Валентине вручала, как ставили памятник погибшим молодогвардейцам. И это не может быть неправдой. «Мы звёзд с неба не хватали, жили как жили. Кому всё это мешало? Были святы вещи, были чувства общего подвига, общей жизни, судьбы... Хорошо, что папка не дожил. И дед – он всю войну прошёл...»

Пытаюсь возразить, но ей звонят. Отвечает взволнованно на украинском, вопрошает, охает, матерится по-русски... Бывшая землячка только что привезла в Москву через три границы сына-инвалида, негде остановиться. И Валентина приглашает к себе и уже начинает обзванивать всех: не нужна ли помощница по дому с высшим гуманитарным и незаконченным медицинским? Радует, что холодильник полон, что кладовка забита под завязку: роту можно целый месяц кормить – не отощают...

А я лезу в шкаф посмотреть, что из тряпок можно было бы переправить этой незнакомой

тётке, и радуюсь, наткнувшись на пиджак сына, из которого он давно вырос. Пригодится парню-инвалиду; если великоват, можно ушить – Валентина всё умеет...

– Помянем наших мужиков. Чокнемся. Как за живых. Всех их помню, кого любила. Разговариваю с ними... И они – со мной. Все с нами, пока их помним. Да ты сама знаешь...

Ответила на звонок, сосредоточилась, вскоре засобиралась. Униформу привычным движением – в ящик, навела марафет, в зеркальце на себя прицельно посмотрела, тряхнула головой.

– На свиданку собралась, что ли?

– Да с парнем познакомилась в институте – ему через месяц пересадку делают. Бывший десантник, две Чечни прошёл. У него с кровью проблемы, боится. На войне не боялся, а тут робеет. Надо поддержать...

Натянула куртку, подхватила сумку с собачьим кормом, убежала.

...Улыбаюсь вслед. Верю, что неведомая сила и дальше будет её нести, вести за собой, освещая путь.

---

## ТАНИТОЛКАЙ

**П**риходила, сбрасывала мокрые сапоги со стоптанными каблуками, прямо в непросохших колготках спешила в кухню, на ходу растёгивая дублёнку, швыряла её под батарею, предварительно вытащив из кармана пачку сигарет и зажигалку, жестом просила пепельницу. Потом вытягивалась на дублёнке, на боку, подперев щёку кулаком, выпускала первые колечки дыма: «Ну что, старая греховодница, что ты сегодня успела сотворить для вечности? Или музы обошли стороной? Или во сне к тебе вместо смиренного Морфея пришёл некий быстроногий и огнечленный муз? Молчишь? А у меня вот что получилось, как раз на лекции по истории КПСС, можно сказать, в тему... Я почитаю, пока помню, – полностью не записала... Про Марину и Сергея, ну и про Волошина немного... Слушай...»

Забывала про пепельницу, сорила пеплом прямо на пол или на дублёнку, щурилась, смахивала с глаз нависшую чёлку...

Тоня слушала подругу, скорчившись на табуретке, завернув ногу за ногу, машинально что-то рисовала на салфетке, кивала, пожимала плеча-

ми, одобрительно восклицала, потом перебивала, открывала папку с набросками тушью... А Таня куталась в длинный шарф, рассматривала рисунки, хохотала, потом пила кофе, рассказывала о важном и неважном; потом они открывали наугад старинный томик «Чтеца-декламатора» в потёртом переплёте, вслух произносили любимые строчки, иногда хором, наизусть... Потом гадали на кофе и снова говорили, перебивая друг друга...

Посиделки обычно происходили у Тони, на Большой Дорогомиловской, – её мама постоянно была в разъездах по стране по делам своей секретной лаборатории. Поздно вечером Таня собиралась и ехала к себе на Пионерскую...

Так прошёл первый год в институте, точнее, первый год Тани. Тоня недобрала балла и работала в фотоателье, без чёткого графика, сдельно. Познакомились они на вступительных экзаменах, обсуждали тему сочинения: оказалось, что обе знают, где в Москве жила Цветаева, и помнят наизусть практически все стихи из сборника «Просто сердце». Вместе пошли пешком по Садовому кольцу до Смоленки, в кафетерии знаменитого гастронома выпили кофе с молоком и заели бутербродом с докторской. К ним подошёл человек непонятного возраста в наглухо застёгнутом длинном плаще, встал рядом со своим бутербро-

дом. Жадно откусил хлеб с колбасой, обернулся к ним, часто мигая:

– Вы студентки?

– Почти.

– Я бы вас хотел снять, – сказал он, непривычно оценивающе оглядывая обеих с ног до головы. – Желательно, ню. Знаете, что это такое? Именно вдвоём. Вы такие разные. Как будто в каждой недостаёт до полного совершенства сущей мелочи. Такого толстовского «чуть-чуть». А вместе вы – просто чудо! Одна модель, а на самом деле – две... Вам никто не говорил? Я работаю дома, тут недалеко. Не бойтесь, я только фотографирую, – он неприятно засмеялся, снова сильно заморгал.

Девочки быстро допили кофе с молоком и ушли; салфетку с телефоном Тоня запихала в карман джинсов, потом бумажка потерялась. Про странную встречу они не вспоминали. За время вступительных успели всерьёз сблизиться: казалось странным, что они до сих пор никогда не встречались, так много оказалось похожего в судьбе, в отношении к вероятной профессии, ко всему... У обеих родители были в разводе, у Тани – даже дважды; обе не испытывали давления старших и свободно распоряжались своим временем и выбором пути.

Ни одна, ни другая не хотели быть педагогами. Таня мечтала стать литературоведом, писать о поэзии, а может быть, и не только: она сочиняла пространные эссе, иногда рифмовала. Тоня с детства любила книжки с картинками, придумывала иллюстрации к понравившимся текстам, отмечала, когда книга красиво издана, часто ходила по букинистическим, рассматривала раритеты. В Полиграфический институт она не надеялась поступить – педагогический казался проще и понятнее, и всё равно про литературу. Она не сильно переживала, когда не прошла – устроилась на работу к подруге матери, ретушировала дома на огромной кухне и ждала, когда Таня придёт из института и будет рассказывать, что там происходило.

Вместе они поступили в литературную студию – как раз напротив Цветаевского дома, на улице Писемского. Сочиняли верлибры, которые в пух и прах раздраконивали собратья по семинару, но снисходительно поощрял пожилой мастер, друг многих бардов, на чьи концерты, как и на поэтические квартирники, подруги стали регулярно ходить. Однажды, приехав на вечер юной авангардной поэтессы на самом краю Москвы, увидели у неё дома выставку работ друга хозяйки, фотографа: обнажённые женщины, в том числе известные. И самого автора – того

самого дядьку в плаще, из Смоленского гастронома, который приглашал их на съёмку. Его все называли Горынычем.

Он девчонок тотчас же узнал: «Жаль, что вы так и не позвонили, очень красивая получилась бы съёмка... Попробуем всё же?»

Разговор прервала хозяйка дома. Больше подруги туда не приходили.

На одном из квартирников обе одновременно и отчаянно влюбились в молодого поэта, праправнука декабриста, сотрудника подросткового раздела в «Московском комсомольце». Тут же решили стать внештатницами газеты, начали писать заметки про московские школы и кружки, разбирать конфликты и отвечать на письма старшеклассников. На первый гонорар купили бутылку шампанского и «Киевский» торт в кулинарии ресторана «Украина». И придумывали будущие невероятные события, где обе будут участвовать, – как эпизоды сценария фильма, сменяющие один другой...

К этому времени Тоня тоже поступила в институт, и подруги стали совсем неразлучны. Мама Тони уехала к новому мужу во Владивосток, и Таня переселилась на Большую Дорогомиловскую, где теперь почти каждую неделю собирались институтские и студийные друзья, читали стихи и запрещённые книги, слушали «Йес»,

«Куин» и лютневую музыку, придумывали капустики и коллективную «нетленку» для студенческого самиздатского журнала...

Друзья в шутку называли их, таких непохожих внешне – маленькая пухленькая Таня и угловатая, высокая Тоня – «Танитолкай». Всегда вместе. Всегда заодно, когда возникали какие-то трудности, спина к спине, как в окопе. Они и по характеру были непохожи: Таня любила поесть, поспать, неряха, спущенные петли на колготках, подпушка платья прихвачена английской булавкой, глаза накрашены один ярче другого, и аккуратная, не терпящая беспорядка, спартански непритязательная Тоня... Однако ничего: уживались и понимали друг друга не то что с полуслова – с полувзгляда...

Отчим Тани, добродушный тапёр из модного ресторана, не раз говорил: «Вы так дружите, так дружите – вам трудно будет выйти замуж...»

Несчастливая любовь к поэту стала постоянной темой их жизни: обсуждали, кто и когда с ним невзначай встретился, о чём говорили, что происходило в его, поэта, пространстве... А он летел по жизни, влюбляясь, меняя жен, заводя детей и мимолётные романы, соря новыми стихами-то в духе появившегося куртуазного маньеризма, то в строгой классической манере...

Обе не избежали близости с объектом любви – на этот раз первой оказалась Тоня. Обе плакали от того, что были ему совершенно не нужны и неинтересны, утешали друг друга и продолжали его любить...

После института Таня получила работу в литературном журнале, стала участницей актуальной литературно-критической полемики, потом вышла замуж за профессора-востоковеда, родился сын...

Тоня свадьбу подруги пропустила: в это время она с другом-художником участвовала в исторических событиях, связанных с падением Берлинской стены, разделявшей Восток и Запад, и с артистическим осмыслением происходящего. Её фотография на фоне свежесозданного на той самой стене эпохального полотна Дмитрия Врубеля – поцелуй Брежнева и Хоннекера – облетела мир. Тоня оказалась в то самое время в том самом месте...

С другом, который после рождения дочери стал мужем, Тоня колесила по Европе, участвовала в выставках, дискуссиях, неожиданно стала преподавать в знаменитом Венском университете – в том числе и литературу... Дочь воспитывали мама с отчимом, потом девочка переехала к родителям в Австрию, поступила в школу при консерватории, стала петь в детском хоре Вен-

ской оперы. Муж ушёл к немке. Точнее, немка вселилась в их квартиру. Жизнерадостная и энергичная.

В тот день, когда Тоня собирала вещи, ей неожиданно написала Таня. Сообщила, что её муж скоропостижно умер.

Тоня поняла, что не останется в празднично-марципановой Вене, которая вдруг стала казаться пресной и надоевшей. Дочь-подросток успешно постигала вокал в престижном пансионе и на известие о том, что Тоня собирается вернуться в Москву, не отреагировала, только пожала плечами. Она готовилась к международному конкурсу, надеялась занять одно из призовых мест.

За те годы, что подруги не виделись, обе изменились.

Тоня погрузнела, обабилась, стала носить просторные платья, тщательно закрашивать седину. Таня, напротив, похудела, стала более порывистой. Но так же курила, не замечая, куда падает пепел, и тем же движением сбрасывала со лба непослушную чёлку, не обращая внимания на её цвет.

Они снова не могли наговориться, как в юности или, точнее, в затянувшемся детстве. И тщательно вникали в дела друг друга. Таня помогла Тоне устроиться в издательство, где она сама выпустила уже несколько сборников эссе и ин-

тервью. Она вела собственную передачу на ТВ – беседы с людьми искусства; активно участвовала в обсуждении реформы школы, выступала в библиотеках, принимала участие в парламентских слушаниях, сочиняла открытые письма и организовывала общественные кампании в защиту свободы слова и творчества. Таня оказалась пламенной защитницей либерального просвещения, остроумным и ярким критиком консервативного направления в литературе и образовании, её статьи в независимой и смелой газете вызывали бурные дискуссии.

После смерти мужа она с головой ушла в работу. Сын пошёл по стопам отца и уехал жить и работать в Японию, женился на японке и присылал изысканные открытки и сувениры. «Он и думает по-японски, представь», – качала головой Таня. На сына она никогда не жаловалась. Про мужа рассказывала скупно, видно было, последние годы совместной жизни они отдалялись друг от друга.

Тоня о себе тоже не много рассказывала. Она была счастлива получить заказы на оформление книг современных авторов, не столько из-за денег – она вдруг поняла, как сделать ту или иную книгу особенно привлекательной, помочь читателю нащупать скрытый в ней уникальный потенциал ещё до того, как он прочтёт первый абзац. Всё то, что она видела в Европе, что поняла

за время участия в самых разных проектах и программах, вдруг соединилось просто и внятно. Ей, трудяге и перфекционистке, впервые в жизни стало легко в профессии. Две её работы были номинированы на престижную премию, и она приступила к теме, о которой давно думала, – новое издание «Строф века»...

После череды разменов с родственниками отчима Тоня вернулась в район своего детства, в небольшую квартиру на Кутузовском проспекте. Таня нередко приходила сюда после работы: попить кофе, поделиться новостями, и, конечно, погадать, вглядываясь в разводы на перевернутой чашке из-под кофе – как без этого... Она по-прежнему любила курить полулежа, правда, теперь на элегантной кушетке, подтянув ноги, набросив пушистый плед. Кашляла... «Вот, наконец определила парня в государственную программу», – поделилась однажды. Оказывается, она много лет помогала детям того самого поэта, в которого обе были безнадежно влюблены в юности. Сам он уехал с очередной женой в глухую деревню, практически в лес, вёл натуральное хозяйство, а один из старших сыновей страдал редкой орфанной болезнью, ему нужен был особый уход и дорогостоящие лекарства.

«А Горыныч – помнишь его? – умер во время ковида, я тебе все забывала рассказать... На от-

певании было совсем мало людей, карантин. Я стояла до конца. Он совсем уже ничего не видел, бедный, – диабет... И сын был далеко, в Америке, его не пустили сюда...»

Они встречались каждую неделю и по выходным обычно шли на вернисажи, творческие встречи или просто выезжали за город, а то и отправлялись в Тарусу или Александров. Гуляли в любую погоду, спеша обсудить актуальное и вечное, наговориться всласть, как будто не успели доспорить, поделиться самым важным за всё это время...

«Танитолкай – это наше всё, – сказал на юбилее Тани бывший однокурсник, теперь директор крупной фирмы. – Если Таня-Тоня вместе, значит, есть в нашей суетной и нестойкой реальности что-то непреходящее и обнадёживающее...»

Юбилей отметили шумно, в модном клубе: играл джаз, юные актёры показали мини-спектакль по мотивам публикаций виновницы торжества, пели постаревшие оставшиеся в живых барды, поступили поздравления от важных персон, а от сына – необычный подарок: два настоящих, живых японских барабанщика...

На следующий день Таня приехала к Тоне, легла на кушетку, затянулась...

– Ты знаешь, я думаю, самое главное в моей жизни-то, что мы встретились тогда на лавочке,

перед экзаменом... У меня не было сестры, я не знала, что это такое. Ты – больше, чем сестра...

– И ты тоже, – отозвалась подруга.

У обеих в глазах стояли слёзы.

Через неделю Таня упала прямо в телевизионной студии, перед очередной передачей. Домой она больше не вернулась. Исхудавшая, с ввалившимися глазами, обвитая трубками и проводами, она лежала в палате онкологического отделения частной больницы, стараясь не провалиться в медикаментозный сон до того, как появится Тоня. Та приходила каждый день. Ночевала бы, если б разрешили. Она прогоняла сиделку, сама меняла памперсы, протирала специальным раствором, переворачивала тающее на глазах, изуродованное хирургическими манипуляциями тело. Приносила новые наброски: институтский двор, Смоленский гастроном и Горыныч, поэт, его жены, Вена и Токио, и они сами перед раскрытой книгой...

Таня уходила в сознании. Сжала Тонину руку: «Спасибо тебе...» И закрыла глаза.

Тоня подолгу сидит вечерами одна перед окном, смотрит на башни «Москва-сити», на затушающий закат. Сама не замечая, набрасывает что-то на листе бумаги тушью или фломастером. Вот уже много портретов Тани, самых разных. В последнее время чаще стала рисовать их вдвоём:

в институтском дворе, перед входом в Цветаевский музей в Александрове, в Тарусе, в знаменитом коридоре «Московского комсомольца»...

Эти эскизы я увидела на небольшой выставке в Доме журналиста, как раз перед закрытием его на длительный ремонт. Известное издательство презентовало последние проекты, и в Мраморном зале на стенах поместили работы ведущих иллюстраторов. На одном из рисунков я сразу узнала подруг – они когда-то, лет тридцать назад, приходили в редакцию, где я иногда печаталась. Тогда, конечно, я не замечала, какие у них удивительные лица – сколько в них было ожидания радости, чуда... Лица влюблённых? Такие похожие и непохожие... Или воображение художницы тому причиной?

Тоня подошла ко мне. Я смотрела на эскиз, потом на Тоню, силясь понять. И вдруг в её чертах будто проступило что-то от подруги, той, другой, на рисунке.

– Помните, это мы собираемся слушать Александра Аронова... Мы, кстати, только что выпустили его очередную книгу, к юбилею. А тогда, конечно, знали просто наизусть...

– Неужели мы все тогда были такие счастливые? – я кивнула на рисунок.

– Почему были? – она смотрела на меня с искренним удивлением, как будто я сморозила не-

сусветную глупость. – Мы же... (повернулась, сняла набросок со стены). Это вам! Нет, не сопротивляйтесь, прошу вас. Это от нас с Таней. Из новой книги – она уже в типографии. Называется «Танитолкай»! Зверь, которого не бывает. Нас так называли друзья. А мы – были. И есть!

И она засмеялась. Неожиданно звонко и весело.

---

## СЧАСТЛИВАЯ

**В**ера Кузьминична никому не завидует. Пустое это. Да и грех, отец Василий сказал, такой же, как уныние, но меньше аборта. А главное – зачем? Люди трудно живут, маются. А у нее всё хорошо.

Вера Кузьминична возвышается над кассовым аппаратом, черные брови, яркая косынка в тон фирменной жилетке с надписью «Пятёрочка», статная, как монумент невозмутимая, и видит из окна крышу своего бывшего дома, на улице Амбулаторной. Дом скрыт за высоким забором. Новые хозяева заменили крышу, теперь она блестит коричневой металлочерепицей; дорого, но надежно, не то что старый шифер, который всё время латали – дедушка, потом отец, потом Валерий... И мать, уже парализованная, переживала, что на веранде всё время протекало... Теперь веранду перестроили, выложили из кирпича и оштукатурили, как и весь дом, поставили стеклопакеты. Нет больше наличников с петухами – их дедушка смастерил. Но зато дом цел, и люди в нём живут, семья переселенцев из Казахстана: один ребенок – инвалид, не ходит, его возят в

санаторий каждый год, надеются, поможет. Покупают ему голубику и гранаты почти каждый день. В каждом доме по кому. Дай-то бог. С тех пор как стала ходить в церковь, она ставила свечки: Пантелеимону – за мальчика, за Светку-падчерицу – Николаю-угоднику; и в память обо всех ушедших – за бабушку с дедушкой, мать, Валерия и, поколебавшись, за отца. Пусть в том мире упокоятся.

– Кузьминична, мне Маврик звонит, выручишь? – вторая кассирша, Наиля, с телефоном в руке бежит в подсобку.

– Конечно, милая, – Вера Кузьминична величественно кивает, махнув рукой.

Наилю она всегда прикрывала. Та сама из-под Баку, муж – армянин, бежали после резни в Россию, где ни армянская, ни азербайджанская диаспора их не приютила, мыкались по углам. Муж, инженер, стал автослесарем, потом открыл мастерскую, его убили пьяные «братки». Наиля вышла замуж снова, за своего, азербайджанца; пока сын был в армии, родила девочку. Муж с армянским сыном видаться не разрешал, Наиля тайком к нему ездила и всегда делала заначку на подарки. Вера Кузьминична видела, как она невзначай дважды пробивала колбасную нарезку или пиво дачникам или «забывала» сотню-другую сдачи, а то и переклеивала этикетки с ро-

ка годности со списанного товара. Не часто, и никто не заметил. Она вообще подмечала всё: и как кладовщица Зоя пересортировывает фрукты, и как её ухажер-участковый выходит из подсобки с набитыми спортивными сумками, а заходил с пустыми. За связь с ментом Зою смертным боем бил муж, она приходила зареванная, в синяках, и не раз рыдала на широком Веринном плече, что и мужа любит, но не может устоять и, как собачонка, бежит за своим ментом, бабником и взяточником, лишь только тот свистнет... По радио слышала – болезнь такая, любовная зависимость... Еще в детстве бабушка кому-то говорила: какую-то женщину съели страсти. Представляла чудищ, вроде Бабы-яги из фильма или летучих мышей – бросаются на человека и откусывают куски мяса... И когда отец ушел, мать, выпивши с соседкой, в сердцах сказала при очередном разговоре о нём, точнее о том, что пропал напрочь, ни писем, ни переводов: «Сгубили его страсти...» Трудно люди живут, маются... Не позавидуешь.

Нет, и у нее было – не отнять. К приезду отца мама решила поставить новый забор, нашелся паренек-солдатик из воинской части – все поселковые нанимали их для разных работ. Рустам. Красивый, высокий, с орлиным профилем, рукастый. Их бросило друг к другу с первого взгляда. Он рассказывал Вере про свою семью, про село со

странным названием Согратль, где самое старое здание – школа, ей триста лет, и разрушенный дом имама Шамиля, откуда он озирает свои владения перед окончательной битвой с русской армией. У Рустама дед был учитель, он сам тоже хотел в педагогический (как и Вера).

– Привезу тебя к нам в село, у нас почти нет русских жен, только у летчика, он в Риге учился, домой летом приезжает в отпуск. Она на тебя похожа. Такая же красивая!

Вера слушала его рассказы, песни на непонятном языке, грустные и тревожные, и представляла высокие горы, бурлящие горные реки, пастбища на склонах, представляла, как она спускается за водой с кувшином на плече, как на чеканке в промтоварном магазине у станции...

Она слышала от девчонок, какими грубыми бывают парни и как бывает больно, но с Рустом ей было только хорошо, до звона в ушах, до потери сознания... Осенью закончился срок его службы, и он обещал приехать через неделю. Не появился ни через неделю, ни через месяц.

Мать, узнав, что Вера беременна, отхлестала её полотенцем, потом дала 30 рублей и отправила к знакомой врачихе в райцентр. Адрес и тариф был хорошо известен в поселке – мать и её подруги пользовались им регулярно.

– Не бойся, – напутствовала мать – твой отец меня и до тебя, и после двенадцать раз отправлял, а иной раз и без наркоза. Главное – наркоз: заснешь, и на следующий день как ни бывало.

Но с Верой что-то пошло не так: занесли инфекцию, в больнице она пробыла долго, и в результате ей отрезали всё, из чего могут появиться дети. В справке для школы (Вера заканчивала десятый класс) знакомая врач написала, что был аппендицит.

А вскоре случилась беда – отец ушел. Точнее, написал открытку, что полюбил другую и останется на Украине у нее. И перевод – 300 рублей.

Мать хотела броситься под электричку, её спасли, положили в психушку, за то время уволили из поссовета, где она работала бухгалтером.

Вера мазала зеленкой уродливые шрамы на животе и не понимала, почему так получилось – почему отец вдруг так поступил и даже не приехал объяснить. Родители жили дружно, отец хорошо зарабатывал дальнобойщиком, привозил из поездок вкусную еду и красивые вещи ей и матери, финские сапоги или кофточки с колготками, они ездили иногда в Москву, а чаще в райцентр на выходные, когда он бывал дома. И почему он не пишет?

На 18 лет она получила от отца перевод – 500 рублей со словами: «Дочери на свадьбу».

Хотела отправить назад, потом отдать матери, но передумала. Мать уже сильно выпивала, каждый вечер они с соседкой, у которой сын погиб в Афганистане, отправлялись в самогонщице и потом на полную громкость включали проигрыватель – ансамбли «Пламя», «Песняры», «Поющие гитары»... Вера училась в торговом техникуме и подрабатывала в местном магазине канцелярских товаров, про педагогический пришлось забыть. Она иногда вспоминала Рустама, его руки, его губы, но вскоре эти воспоминания стерлись, как будто всё это было и не с ней, а с кем-то другим, или во сне. У одной школьной подруги за то время уже дважды родились больные дети: девочка умерла почти сразу, а мальчик месяцами находился в больнице, редкая аллергия; муж не выдержал и через год ушел. Другая никак не могла выйти замуж, беременела и делала аборт за абортom. Вера привыкла тащить еле передвигавшую ноги мать домой, разувать и раздевать, вытирать блевотину и слушать пьяный бред.

500 рублей ейгодились на похороны: мать с соседкой отравились паленой водкой; соседка умерла сразу, а мать, ослепнув, – через неделю.

На 40 дней она собрала знакомых, накрыла стол. Среди приглашенных был племянник соседки, Валерий, только что отслуживший во

флоте. Говорили, он рассчитывал на теткинo наследствo, но та всё оставила родне покойного мужа и его семье.

– Верушка, – он взял её за руку, когда гости разошлись. – Если ты не будешь квасить, как тетка, я на тебе женюсь.

Валерий переехал к ней. Работал на водоканале, провел наконец в дом водопровод, газ, появилась ванна и горячая вода, о чём родители только мечтали. О детях разговора не заводил. Вера сама сказала, что после операции она не может – если что, можно из дома малютки взять. Но он не настаивал. Сколько раз, лежа с ним рядом, Вера пыталась вспомнить, как она обнимала Рустама, но не получалось. Валерий отремонтировал крышу, поставил беседку и рядом с ней песочницу с грибком. Вера удивилась – для чего?

– Ты не будешь сердиться? – спросил он.

Вера не поняла.

На следующий день он вернулся с работы не один – с молодой женщиной (Вера видела её в сберкассе на окошке) и девочкой полутора лет, волочившей куклу, с рыжими волосами, копия Валерия. Оказалось, их выгнали с квартиры и они просились на постой. Валерий вызвался заплатить.

Вера поселила пришельцев в бывшей родительской комнате, выгнала Валерия туда же. Не

спала ночь, а наутро повела новых родственников в сельсовет прописывать. Секретарша, бывшая мамина подруга, пыталась её отговорить, но Вера оказалась непреклонна. С тех пор по поселку разнеслось: Кузьминична не в себе, блаженная... Но ей было всё равно. Она не поехала на повышение в райцентр, осталась в самые лихие годы в поселке, вместо канцтоваров открылся промтоварный, изредка перепедал дефицит, который тут же перепродавали на рынке в райцентре, поселковое руководство было в доле, и худо-бедно семья жила несколько лет.

Вера учила математике рыжую Светку, водила её в детсад и потом в школу, та стала её называть мамой. То, что Светкина мать – kleптоманка, поняла не сразу. Сначала стали пропадать вещи – серебряные подстаканники, бижутерия... Однажды Вера поймала её за руку – рылась в комод в Вериной комнате. Она попросила Валерия сделать замок. Когда Светка была во втором классе, случилась очередная беда – ограбили отделение Сбербанка в райцентре: Светкина мать оказалась наводчицей, всех повязали, ей дали срок. Вера оформила опеку над Светкой, потом её удочерила. Валерия она к себе больше не пускала, тот смирился, приносил заработанное, стал устанавливать газовые котлы в районе. Погиб, когда случилась авария. Вера похоронила его в одной

ограде с матерью, бабушка и дедушка – рядом. Тогда она впервые пошла в церковь – отпевать. И заодно просить спасти Светку, у которой проявились материнские наклонности, крала.

Церковь на краю поселка была заброшенной много лет, её отреставрировали своими силами, поселковые собрали иконостас. Вера приходила, тихо стояла в сторонке, слушая хор. Ставила свечи за покойников и за Светку. Молодой священник, отец Василий, ей нравился. Как будто сынок – примерно того же возраста, как их с Рустамом нерожденный. Но не исповедовалась и не причащалась. И когда на Василия завели дело о продаже редкой иконы владимирским «браткам» (рассказали прихожане), принесла из дому бабушкину – «Утоли мои печали» – и перед самым приходом следователей попросила поставить в пустующий оклад. Следователи дивились и пытались надавить, но Вера уверенно утверждала, что взяла икону домой помянуть предков и вернула назад.

Отец Василий потом стоял на коленях и называл её святой. А Вера просила помолиться за Светку. С тех пор она старалась не пропускать ни одну службу, научилась петь в церковном хоре.

Когда Светке исполнилось 18, она потребовала раздела имущества. её бойфренд хотел начать бизнес в Крыму. Вера выставила дом на продажу,

отдала деньгами и купила себе комнату в семейном общежитии военного госпиталя, на седьмом этаже, с общей кухней и ванной. Зато высокий дом, где всё само работает. Соседи – двое молодых военных врачей, из Питера, хорошие ребята, не сильно пьют и вежливые. Грех жаловаться.

Когда ей было уже 45, она сошлась с Амиром, таксистом, из Таджикистана – работал мелиоратором, семья на родине, под Душанбе. Он привозил фрукты, готовил плов и называл её второй женой. Амир читал ей стихи на русском и фарси, молился по утрам, чисто убирал квартиру и сочувствовал проблемам со Светкой, которая писала редко, в основном требуя денег. С ним было легко и спокойно, и в какие-то минуты она забывалась, и вспоминала поцелуи Рустама, и обнимала Амира пылко и отрешенно, и тот от восторга шептал ей какие-то слова на непонятном языке...

Свою таджикскую жену с тремя детьми он привез к ней вместе с мешками сухофруктов и попросил организовать продажу на поселковом рынке. Вера отдала детям свою кровать, временно переселилась в комнату военных врачей, которые были в отпуске, но скоро передала бизнес Наиле и поскорей освободилась и от Амира, и от его потомства, которые быстро нашли приют у заведующей новой привокзальной баней.

– Верушка, ты везунчик, – как-то сказала ей Наиля, – ведь сколько раз могла пропасть! Не спилась, и муж не убил, и Светка твоя где-то далеко, и даже таджик не убил и не ограбил! Хорошо тебе! И сама жива-здоровая!

Вера только улыбнулась.

Она стала чаще ходить в храм и готовила подарки для детей Василия – шоколадки, ползунки и игрушки, и пару раз дважды выбивала чек подвыпившим веселым москвичам-дачникам за коньяк и даже текилу.

На похороны она давно отложила и написала завещание отцу Василию, чтобы средства от продажи её комнаты перешли не храму, а конкретно ему и его семье.

А так у нее всё есть, и некому завидовать. И незачем. Всё хорошо. Она смотрит на крышу дома, в котором родилась, каждый день с высоты своего кресла у кассового аппарата и величаво здоровается с покупателями.

А вечерами, сидя у телевизора в своей теплой общежитской комнате, наливает рюмочку и, забыв о программе, смотрит в окно, где темнеют сосны и кружится снег, и ей кажется, что в его кружении возникает забытое лицо Рустама, и лица родителей, и где-то впереди её ждет прекрасная, всех прощающая и принимающая Богоматерь, которая дарует ей вечный покой.

---

## СЛЕДОПЫТ

О том, что влюбилась, Серафима Германовна догадалась случайно. Серым ноябрьским утром она шла, как много лет уже, неровной тропинкой посреди тощего сквера от Дома учителя к поселковой почте, аккуратно обходя лужи. Путь этот – точно триста пятьдесят восемь шагов, самый короткий, и все деревья, со всеми их отметинами и обломанными ветками, и заборы по бокам сквера, и единственную собачью конуру у забора, к которой от калитки с витым литьем вела дорожка из треугольных плиток, и даже все кочки и русла случавшихся в сильные дожди и весеннюю распутицу ручейков – она знала наизусть, могла описать подробно и найти с закрытыми глазами. Двадцать пять лет в снег и холод, жару и ненастье она сворачивала с асфальтового тротуара в сквер и выныривала уже около самого здания почтовой конторы поселкового отделения «Черная Грязь». И никогда не соглашалась, если предлагали сослуживицы или знакомые попутчики, сменить маршрут. Не ради пяти минут экономии вовсе (по асфальту, может быть, и выходило бы так на так – всё же по

ровному идти надежней), но из некоего давно заведенного распорядка, подоплеки которого Серафима Германовна и сама не нашла бы, если бы её спросили. Может быть, в память о матери, которая по той дорожке, с трудом передвигая артритные суставы, ходила на почту узнать, нет ли перевода. Никогда не позволяла Симе её провожать. А может, и нет.

Деревья в сквере, липы и клены, летом переплетались верхними ветками, создавая подобие подвижной арки. Нижние ветки были давно обломаны, на стволах виднелись зарубцевавшиеся отметины, оставшиеся от соревнований некогда занимавшего поселковое здание клуба лагеря спортивного резерва (почему-то их руководитель решил именно таким образом сверять результаты), и кое-где не заросшие следы от козьих зубов. Руководителя клуба и самих спортсменов Сима не помнила толком. А вот как сажали сквер, помнила и даже участвовала вместе с одноклассниками: тогда школьный садовник и по совместительству учитель труда Алексей Михайлович выписал целую партию саженцев, а также цветов-многолетников и даже четыре куста можжевельника. Из-за этих кустов Симины мама, тогда уже завхоз школы, скандалила, не видела смысла, но садовник настоял, сказал, что они будут облагораживать своей формой и фактурой но-

вый сквер по всем четырем углам и представлять многообразие растительного мира Подмосковья. Пришлось ему уступить. Кроме можжевельника, Михалыч разбил клумбы, вместе с детьми засеивал их весной космеей, гвоздиками и ноготками, в центре по очереди бушевали роскошные пионы, потом драматическое «разбитое сердце» и флоксы, никто из прохожих, кажется, цветов не рвал. Клумбы давно заросли и сровнялись с грунтом, от можжевельника остался только один куст, точнее, даже обрубок. Два зачахли от неизвестных болезней и засухи, еще один больничная техничка, самогонщица Тася, выкопала, чтобы посадить на могилке перепившего её же пошла и замерзшего под 23 февраля мужа – Сима видела, точно растет на могилке, и сама Тася лежит там же, со своим благоверным. Последний куст остался в самом темном углу сквера, у нового гаража Мусы – когда-то трудного подростка, которого мать, помощник зубного техника, спасла от зоны, продав квартиру в Доме учителя, а теперь степенного отца семейства, владельца придорожного спа-салона «Владимирка». Уцелевший можжевельник также подвергся поруганию. Сначала строители гаража свалили на него самосвал песка, потом наехал водитель ассенизатора Славик, у которого дрогнула нетрезвая

рука. Но куст выжил! Кривобокий, несуразный, он продолжал жить, выпуская каждый год новые ветки.

Заморосил дождь. Серафима Германовна затянула завязки на капюшоне, привычно бросила взгляд на скудные окрестности – и обмерла. Можжевельный куст светился розовым светом. Не слишком ярко, но вполне заметно. Серафима Германовна замедлила шаг. Пригляделась. Никаких сомнений – вокруг несчастного обрубка распространялось ровное свечение, и сам он становился с каждой секундой всё пышнее и ярче, на ветвях появились неясные тени, что-то смутно напоминающие. Серафима Германовна остановилась. Облизнула губы, потерла себе ладонь с внутренней стороны, между линией жизни и линией судьбы, как учила одна дачница – говорила, там точка высшей энергии, отрезвляет и способствует здравому смыслу. Куст продолжал сиять, теперь он переливался, как новогодняя ёлка, знаки обрели ясность – теперь она четко узнала пузатые груши и яблоки из папье-маше, стеклянные бусы, гирлянду из флажков с сюжетами сказок Пушкина, матовую мельницу, все довоенные, сохраненные мамой от собственных погибших родителей, потерянные давно – и среди всего этого увидела райскую птицу, подарок дяди Рачия в год её тринадцатилетия. Птица ласково

смотрела на нее, поводя черным навывкате глазом, шевелила переливающимися перьями и как будто хотела что-то сказать. Серафима Германовна онемела. Она не чувствовала, как наступают в лужу, как грязь и вода заливают новые полуботинки. Не понимала, как заходится сердце, и от давления стучит в висках, и на глаза наползает туман. Птица так ничего и не сказала. Очнувшись, Сима потрясла головой и еще раз надавила на ладонь. На мокром можжевелевом кусте сидел красногрудый снегирь.

Она вышла из лужи, почувствовала, что промочила колготки, и почему-то совершенно не расстроилась. Она вспомнила снегиря, улыбнулась. На душе вдруг стало удивительно светло и спокойно. Каждый шаг давался легко, и вспомнились какие-то обрывки старых мелодий и слов из репертуара давно забытых ВИА... «Звездочка моя ясная, как ты от меня далека...» Кажется, это было про Надю Курченко, хотя тогда, когда впервые это прозвучало из школьного репродуктора, никто не знал и не думал. И думали о другом совсем...

Вдруг, почти подходя уже к зданию, она почувствовала, как что-то случилось с её организмом. Не только ноги слишком ладно шли. Неожиданно сладко и больно потянуло внизу живота, как много лет назад, когда она носила

Федю, и мышцы сжались в пульсирующий комок, и грудь набухла. В голове зашумело – но не так, как от давления, а радостно и призывно, как после школьного вечера в седьмом классе, когда она впервые целовалась с Олегом.

– Что-то вы сегодня припозднились, – пропела телеграфистка Филипповна, открывая ей дверь, – обычно раньше всех на посту.

– Да, замешкалась что-то, – проговорила Серафима Германовна и вдруг поняла, что сегодня не вторник. И очень жаль, что не вторник. И стала ждать вторника.

...Он открыл дверь в дождливый сентябрьский день, неловко закрывая зонт, с которого налилась целая лужица на новый линолеумный пол. Попросил доступа в интернет на полчаса. Сима его никогда не видела. Высокий, худой, возраста неопределенного, усы топорщатся, пиджак мешком, недорогой, ботинки приличные, но поношенные, по виду непьющий, на дачника не похож, да и сезон уже кончился, но и не мигрант и не деловой. Сидел больше часа, что-то восклицал, цокал языком, потом бросился направлять какую-то телеграмму, смысла она не помнила, что-то типа «не нашел, но близок к цели». Заплатил, убежал, оставил пакет, а в нём – книжка. Фенимор Купер «Следопыт», старая, видно, библиотечная. Сима выглянула на улицу – его и след простыл, как

испарился. Прибрала пакет с книжкой, забыла уже. Но в следующий вторник (как раз пенсию давали, соцработники жужжали, как мухи, да и некоторые поселковые сами приходили) – он пришел снова и снова попросил интернет на полчаса. Снова сидел больше положенного, но Сима не стала с него брать на этот раз дополнительно и молча передала пакет. Тот вспыхнул, улыбнулся и – стал похож на озорного мальчишку, вдруг поцеловал ей руку, сказал: «Какая вы добрая». И исчез. Она посмотрела на свою полную руку, пожала плечами и пошла сверять счета.

Никто никогда не называл её доброй. Серафима Германовна была ответственной, была грозной, была рассудительной и практичной. Это она слышала не раз и получала заслуженные грамоты и премии, формальные и неформальные, за свою исполнительность и понятливость. Давно, в какой-то прошлой жизни её называли стервозой. Первый раз это сказал Олег Шпынкин, тот самый, с которым они целовались после школьного вечера в яблонево́м саду, среди осыпающихся лепестков, в одуряющем мареве весенних запахов. Олег тискал её робкую грудь, и Сима чувствовала, что сердце сейчас вылетит из ребер и взвьется к синему вечернему небу, на котором проступали первые звёзды, и сама она станет одним из этих светящихся огоньков. Олег стащил с нее кофточку, забрался

в трусы, она и сама почти не сопротивлялась, но в последний момент всё же вырвалась – и тогда он её ударил и повалил. Глотая слёзы и кровь из разбитой губы, она ободрала ему лицо и прошипела: не смей, я матери скажу, и тебя точно посадят. Тогда он её грязно обозвал. Она ничего не сказала, а Олег попал на зону из-за очередной кражи на местном рынке. Его поцелуи она долго старалась забыть и, кажется, перестала о нём думать, когда, уже после развода, с маленьким Федей шла по поселку и её нагнал невиданный автомобиль с тонированными стеклами и русалкой на капоте. Из него выскочил здоровый мужик с толстой золотой цепью на красной шее: ну что, подруга, я слышал, не занята? Жилье в порядке? Пустишь погостить? Вечером приду, а то мне осесть где-то надо. Сима не сразу узнала Шпынкина. Но вызвала милицию, и рецидивиста задержали с краденными ценностями – не у нее дома, в другом месте.

Бывший муж Василий был по натуре молчун. Он служил в соседней части в стройбате и подрабатывал, как все солдаты, у поселковых, за еду и сигареты. К Лоре Петровне, маме Симы, он пришел по рекомендации – чинить унитаза. Потом починил проводку, исправил шпингалеты на окнах, сколотил новый разделочный столик и стал приходить каждые выходные: уминал котлеты и приготовленную по случаю гостя долму, варе-

ные и блины, иногда просил разрешения позвонить родителям в Краснодар – разговор был односложным. Сима стала спать с ним как-то незаметно: она готовилась к экзаменам в педучилище, Вася всё время крутился рядом, уже практически родственник, и страсть их была тоже какой-то домашней и незамысловатой. Поженились, когда у Симы уже подросток живот, а у Васи наступил дембель; на свадьбу приехали сваты, привезли молочного поросенка, домашнего самогона; весь Дом учителя широко гулял и потом не менее широко опохмелялся. Вася прописался и был пристроен стараниями Лоры Петровны на её место завхоза в школе (она сама уже заведовала группой продленного дня).

Сима рожала трудно, долго болела, молока у нее не было, молочная кухня в поселке работала с перебоями, в магазинах – вообще ничего. Федя где-то подхватил инфекцию, Сима два месяца лежала с ним в страшной районной больнице, где ползали тараканы и из подвала совершали набеги голодные крысы – матери боялись, что покусают младенцев. Пришлось взять академку в училище, и тут мать, Лора Петровна, слегла.

Сима, полуживая, устроилась секретаршей в родную школу и не обращала внимания на сплетни. До тех пор, пока не увидела и не услы-

шала своими ушами, зайдя случайно в подсобку: муж, застегивая штаны, просил молодую практикантку-математичку подождать, пока ребенку исполнится полтора года, тогда он может спокойно развестись и отсудить у дуры жены и её матери комнату в Подмоскowie. Практикантка натягивала колготки, глупо кивала, потряхивая мелированными кудряшками, и хлопала накрашенными ресницами.

В суде Сима заявила, что её муж – не только изменщик и бессовестный примак, но и враг советской власти, слушал регулярно вражеские голоса и осуждал интернациональную миссию СССР в Афганистане и только что состоявшуюся Московскую Олимпиаду. Судья опешила, спросив, откуда в Грязи, где вокруг все глушилки Родины и секретный объект на объекте, слышны вражеские голоса, и Сима сообщила, что бывший однополчанин, радист секретной части, соорудил Василию специальный транзистор, который преодолевает все технические возможности советской информационной защиты. Ваське присудили максимальные алименты, о радисте с тех пор никто ничего не слышал. А Васька, уходя, бросил ей: «Ну ты и стервоза».

Алименты он присылал регулярно, пока Феде не исполнилось 18, потом перестал, встретиться с сыном никогда не стремился. Не так давно Се-

рафима Германовна увидела по телевизору программу – там говорили о героически погибших ополченцах Луганской народной республики, и вроде бы даже звучало его имя. Она писала, пыталась выяснить, просила начальника почтового управления узнать – но ничего не получилось, из штаба ополченцев написали, что, видимо, произошла ошибка.

...Про себя Серафима Германовна назвала его «Следопыт». Книжку Фенимора Купера он почти всегда носил с собой, доставал из её страниц какие-то листики с убористыми записями, которые потом передавал по интернету и, получая ответ, цокал языком, иногда припрыгивал на кресле, качал головой. Это могло продолжаться минут двадцать, а могло и много дольше, и Серафима Германовна не спешила брать с него лишнее, понимая, что происходит что-то важное. Он приходил неизменно по вторникам и два раза в месяц, она заметила, делал переводы по пластиковой карточке, снова через интернет. Кому и зачем? Уходя, он обычно дружески кивал, и иногда подмигивал, как будто между ними установилась какая-то особенная связь, и улыбался – все зубы на месте, и чертенята прыгают в глазах, как у молодого...

Официального отца у Серафимы Германовны не было. В метрике в соответствующей графе стоял

прочерк, и мать назначила ей отчество Германовна в честь космонавта Германа Титова. Лора Петровна всю жизнь мечтала о звездах, мечтала стать учителем астрономии, но не доучилась, преподавала всю жизнь черчение, потом подрабатывала в горсовете и закончила карьеру завхозом поселковой школы, за что получила двухкомнатную квартиру в Доме учителя, единственном тогда в поселке благоустроенном двухэтажном доме, с газовой колонкой и туалетом. Так Лора Петровна стала ответственной съемщицей элитного в то время в Грязи двухкомнатного жилья. Родители ее, пламенные комсомольцы, идеалисты, строители Кузнецка, дали дочери в духе времени значительное имя – Ленин Освободил Рабочих, сокращенно Лора, которое она с горестной тягостью несла все годы, пытаясь переименовать то так то эдак. Родители умерли давно: отец – от ран, полученных на войне, мать – от лишений и болезней, и не увидели внучки, считая, что Лора так и останется старой девой. Но суждено было иначе. Лора стала сдавать одну из двух комнат. И одним из постояльцев оказался фотограф Рачий Константинович. Он приезжал в воинскую часть к присяге и к дембелю, иногда к Дню Советской армии, с треногой, огромным тяжелым фотоаппаратом и сумкой с реактивами. Впрочем, это уже потом Сима помнила реактивы, которыми была заполнена вся квартира.

Сначала Рачий приехал в Грязь и каким-то образом нашел комнату у Лоры Петровны. Потом стал приезжать регулярно.

Его приезды, радость встречи, бурные объятия, смех, запах армянского коньяка и специй, приготовление пряных блюд, диковинные сладости, поездки на такси на рынок в райцентр и на пони на какую-то правительственную ферму неподалеку – это первые воспоминания праздника. Не Новый год, не её, Симин, или Лоры день рождения, даже не 7 Ноября или День Победы. Дядя Рачий говорил – когда у меня есть деньги, тогда и праздник, и будем праздновать, и Лора смеялась, и была необычно красивая, и дядя Рачий поднимал её на руки. Потом его не было долго, но иногда приходило извещение, и Лора шла на почту, и получала перевод, и они с Симой ехали в райцентр в кино или покупать ей новое платье или сапоги. Всё это Сима помнила довольно смутно. Но отчётливо сохранилось в памяти, как дядя Рачий на тринадцатилетие подарил ей невероятные колготки, каких ни у кого не было, и странную стеклянную игрушку, как будто для ёлки – огромную жар-птицу с переливающимся хвостом, и сказал, что она должна быть счастлива. Сима чуть было не заплакала – она боялась, что с ним что-то случится, хотела его задержать. Но он обнял её и Лору и уехал. Больше они его не виде-

ли. Несколько раз еще Лора получала по почте переводы, потом и они прекратились. Незадолго перед смертью Лора Петровна сказала, почему назвала Симу таким странным именем – Рачий однажды сказал, что святой Серафим Саровский отмолит все грехи людей. Так она и решила.

Много лет спустя Серафима Германовна пыталась найти следы Рачия Константиновича, его московскую и ереванскую семьи, других женщин, детей – всё безрезультатно. От него она унаследовала внушительный нос, густые брови и тяжелый зад. «Армянская задница», – подшучивала над её комплекцией уже парализованная Лора Петровна и вспоминала иногда, приняв рюмочку, подробности проявлений веселого нрава Рачия.

Сын Федя вышел, судя по всему, в деда. Юркий и пылкий, с обволакивающими каждого невероятными синими глазами и длинными ресницами – он прослыл бедой всех девочек школы. В лётном училище, куда он, крепкий и спортивный, легко поступил, успел жениться и развестись дважды; причем последняя жена, из Калининграда, настолько напомнила Симе презренную практикантку-математичку, что не сдержалась, – и Федя с женой пропали на несколько лет. Но легкость перемещений Феди по женщинам и пространству не знала границ, и когда последний раз он, уже представитель российских ВВС в далеких

африканских широтах, предстал в Грязи перед матушкой с чернокожей супругой и двумя чудными негритятами, Сима поняла, что сына у нее больше нет. Федя не баловал переводами, но раз в год, на Рождество, направлял то тысячу, то две долларов в эквиваленте, и исполненную любви открытку с очередными фотографиями семейства, которые Серафима Германовна немедленно бросала в дальний ящик. Она давно уже установила свой порядок размеренной и поступательной жизни, остановившейся в какой-то момент, но сохраняющей устойчивость и логику. После смерти матери ушла из школы навсегда, получив максимальные привилегии, забыла про педагогику, но нашла прекрасную нишу на почте, где умела потрафить начальству, получить при этом свою выгоду, и складывала неслучайную копейку к копейке, что радовало её всё больше и больше.

...Сима ждала вторника. Накануне она долго смотрела на себя в зеркале в уборной. Тяжелые веки, глубокие складки у губ, землистый цвет лица. Всё это поправимо. Она вытащила из дальнего угла ящика помаду, пудру, поправила пробор. Вышла в зал. Начальник управления, внепланово приехавший, чтобы забрать выручку от пользования интернетом и других услуг, приосанился – Серафима Германовна, вы как на выданье сегодня, такая красавица, дай поцелую!

И она снисходительно подставила щеку.

Всю вторую половину дня она пыталась представить, куда отправляет переводы этот Следопыт, кто он, о чём думает, кого любит. Никто в поселке не мог сказать, она спрашивала уже: снимал комнату у военных пенсионеров, платил в срок, женщин не водил (что было приятно), не гулял и писал ночами что-то от руки в тетрадке, ходил в библиотеку иногда. Очень любил смотреть фильмы про индейцев, видели много кассет.

В следующий вторник Следопыт не появился.

И через вторник тоже. И потом.

И никогда его больше не видели на почте поселка Черная Грязь.

Но это на самом деле неважно.

...Серафима Германовна по-прежнему ходит по неверной дорожке, уже зимней, через сквер. И иногда – не каждый раз – её приветствует тот самый куст можжевельника, который осветил сердце неугасимой силой мечты. И на тощих ветках, подернутых инеем, вспыхивают искры и прорастают тени и фигуры; и над всеми ними, и над всем их совместным тихим сиянием, поет тонким голосом райская птица счастья, потому что не петь ей нельзя.

---

# НОВОСТИ ЖЕНСКОГО РОДА

«Тёмная, вязкая жижа, серо-бурая, бесконечная... Вы думаете, это танки, снаряды, пушки? Нет, война – это прежде всего грязь в любую погоду, жижа, по которой шатаются коровы, собаки, очень много брошенных животных... И птицы улетают оттуда, я замечала, птиц нет совсем...»

Вика который раз слушала запись их первого разговора все эти месяцы, перед очередной встречей, знала её уже наизусть, но как будто хотела уловить в срывающемся голосе что-то ускользнувшее прежде, пропущенное, не понятое до конца... Какое-то важное звено, мимолетное движение, которое раскроет неясное, исправит точность звука, отклонившегося от необходимой частоты... Камертон. Нужен камертон.

Обычно она довольно легко настраивалась на некий внутренний ритм собеседника, что происходило как бы само собой, хотя, конечно, этому предшествовала длительная подготовка: изучение биографии и прочих данных в интернете,

собственная медитация. Но этого никто не знал, и в первые же минуты возникала интимная и доверительная атмосфера, которая и была основным залогом будущего успеха и преодоления тех проблем, которые требовали решения и с которыми человек не мог справиться сам. Именно то, зачем люди и приходят к коучу.

Но с Адой не получалось. Хотя, конечно, они не просто привыкли, но каким-то образом даже привязались друг к другу – этого не скрыть. Может быть, дело в том, что Ада часто переносила встречи – то болела, то уезжала в командировку и снова болела, то приходила не вовремя. Вика не терпела нарушений в расписании, зорко следила за регулярностью визитов, считая её важнейшей составляющей движения к поставленной цели, и не прощала неаккуратности, отказываясь даже от самых выгодных клиентов. Аде разрешалось то, что не было позволено никому. Опаздывать, отвлекаться на телефонные звонки, спать в глубоко кресле после сеанса, как случилось в один из первых вечеров. Тогда она впервые рассказала об отчине, о том, как первый раз убежала из дома, как устроилась уборщицей в районную газету, чтобы научиться писать, и как на первый гонорар купила матери косметический набор...

Однажды, перед ранним рейсом в Архангельск, она ночевала в этом же кресле, Вика сама

настояла – в съемную пополам с подружкой квартиру в тьмутаракань на ночь глядя ехать нет смысла, а тут рядом Киевский вокзал, экспресс примчит за полчаса прямо в аэропорт. Та заснула, как котенок, поджав ноги и втянув голову в плечи, прямо в джинсах и свитере. Вика накрыла ее, спящую, пледом, и сердце защемило от жалости к этой хрупкой во всех смыслах девчонке и от гнева на мерзавца-редактора, который снова отправляет её в очередную дыру писать об очередных несчастьях, после чего та, скорее всего, снова заболит ангиной, будет рассказывать о муках обездоленных и беззащитных и плакать, вытирая слёзы кулаком, от бессилия им помочь... Была бы её воля, Вика отдала бы такого редактора под суд.

Зазвонил телефон.

– Виктория Александровна, это Ада. Простите, не смогу сегодня к вам прийти, очень серьезная встреча, я давно старалась её организовать. Новый материал. Я вам потом расскажу. Можно я вам завтра позвоню?

– Конечно, Ада. Только осторожно, договорились?

– Я вам обещаю! – звенел радостным ожиданием тоненький голос.

Вика выключила диктофон, положила на комод, где теснились фотографии родителей, её

портрет а-ля Матисс кисти однокурсника, подарок на двадцатилетие, вазы венецианского стекла, терракотовые и самшитовые фигурки богов, память о путешествиях, и старинный камертон – дедушка настраивал с его помощью пианино. Инструмента давно нет, сын подарил невесткиной племяннице, но камертон сохранился как связующее звено эпох и поколений, как некий знак стабильности и приверженности неизменным основам бытия, не подвластным наносным веяниям, политическим ветрам и иным причудам.

Начав новую жизнь в маленькой, доставшейся от тетки, квартире, Вика особенно тщательно отнеслась к оформлению рабочего пространства, где клиенты должны были чувствовать себя спокойно и уверенно. Оказалось, не напрасно. Теткин ореховый комод, который не выбросили только по недоразумению, после реставрации и с разнофактурными предметами на его поверхности создавал необходимый эффект отвлечения и одновременно фиксации на незначительных, но напоминающих о гармонии пропорций деталях, что «при участии желтого света лампы исключительно благотворно воздействует на психику в состоянии тревоги или выгорания – так это потом объяснил знакомый психолог. Камертон в ряду этих деталей привлекал многих больше всего.

«Не смогла, ну что же. Значит, не судьба; значит – лучше встретиться завтра», – вслух сказала Вика. После переезда, особенно после перенесённого ковида, она стала нередко говорить вслух, как будто убеждая себя еще раз в правильности высказанной мысли. И пошла пить чай, который заварила для Ады.

Вика верила в судьбу. В то, что самые трудные ситуации подчас разрешаются самым неожиданным образом и потери оказываются не потерями вовсе, а восхождением на некий новый виток. Так было, когда она первый год не поступила в университет. Пошла курьером в типографию, где познакомилась с Гришей. Поступила всё равно на следующий год и скоро ушла в декрет. Диссертацию не защитила, почти закончив аспирантуру, зато сохранила семью, и они втроем с маленьким сыном уехали из «лихой» Москвы 90-х, где успехи убить Гришиного партнера по бизнесу и где за его сердце и растущую компанию по производству модного софта сражались две юные красавицы. Жили пять лет в Вене, где она успела познакомиться со многими серьезными людьми, это так пригодилось потом! Гриша всё же ушел, его бизнес буксовал, деньгами помогал нерегулярно, но Вика не пропала – друзья и европейские знакомые помогли устроиться в новый частный вуз, где она с головой ушла в работу,

оказалась талантливым администратором и стратегом, довольно быстро доросла до проректора.

Замуж больше не вышла, хотя были претенденты и даже большая любовь, но сын-подросток четко дал понять, что такой вариант его не устраивает. Зато был внимательным и заботливым, старался радовать успехами в учебе, по стопам отца и при его неожиданной помощи открыл свое дело, вошел в сотню лучших молодых предпринимателей уже в 30... Кто знал, что его коллега, ставшая женой, поразительно похожая лицом и повадкой на последнюю Гришину избранницу, всё перечеркнет и растопчет?

Она знала: трудолюбие и упорство почти всегда ведут к успеху, именно они и есть условие того, что судьба тебя не оставит, подхватит невидимыми крыльями и вознесет на новые высоты. И когда неожиданно институт закрыли, что совпало с конфликтом с невесткой, и Вике пришлось переместиться в теткин «однушку», прежде сдаваемую, таким же чудесным образом появился бывший одноклассник, ныне директор крупной фирмы, и попросил поговорить с его заместительницей, дочкой учредителя, «просто, поженски, как ты умеешь». Учредитель сам обратился за помощью – у дочери наметился невроз. Одноклассник подозревал, что к тому же она хочет его подсидеть.

Вика в тот момент была на мели, то есть совершенно без денег. Много лет жила широко, не научилась копить, а отложенные на кругосветное путешествие доллары стремительно растаяли за полгода. И перспективы приличной работы рассеялись как дым, а до пенсии оставалось еще довольно далеко, тем более учитывая реформу. Плюс оказалось, что за тот год, когда она фактически одна (прогульщица-молдаванка не в счет) возилась с внуком, пока сын с невесткой налаживали филиал в Харбине, у нее пошатнулось здоровье. Гипертония, грыжи в позвоночнике, киста в коленном суставе, так что по лестнице старалась подниматься очень осторожно и привыкла начинать утро с таблеток.

«Брось, ты справишься, – сказал одноклассник в ответ на её почти рефлекторный отказ. – Я помню, как ты нас перед выпускным всех урезонила и помирила, да и опыт не пропешь. Тут степень кандидата не нужна, главное – поговорить по-человечески. Очень тебя прошу».

Три дня Вика штудировала курсы по психотерапии в Сети, подняла старые университетские записи. Социальную психологию им читал модный в то время лектор, собиравший аншлаги в Политехническом на лекциях о любви и дружбе, ныне видный оппозиционный политик. Она улыбнулась, глядя на неровные строчки конспектов –

тогда это казалось почти запретным знанием! Как изменилось всё за эти годы! Да и сама она изменилась. Даже Гриша. Видела его недавно на дне рождения сына, он, всегда такой подтянутый, обрюзг, даже новая жена как-то обабилась, хотя ей еще только сорок. А она сама? Она с удивлением рассматривала свое отражение в зеркале, как будто стараясь рассмотреть еще недавно цветущую и ухоженную женщину «без возраста».

Накануне встречи с бизнесвумен в неврозе Вика отложила все книги и неожиданно успокоилась. Заместительница одноклассника оказалась коренастой, с упрямым лбом и четкой морщинкой между бровями. Крашенные светлые волосы, модная стрижка. «Зачем она красится? – мелькнуло в первый момент. – Это её простит, и черты кажутся грубее».

Она оказалась действительно упрямой и буквально зацикленной на работе – этакая реально опасная в любом коллективе перфекционистка; и не скрывала, что хочет возглавить компанию и войти в русский список «Форбс».

Невроз свой она так же четко определила сама и с ходу: патологическая любовь к сыну, которая мешает в карьере. Мальчик родился слабеньким, находился под наблюдением врачей, по полгода проводил в санатории, куда его сопро-

вождала одна из двух нянь; дома сказки на ночь мальчику читал муж, программист и, судя по всему, законченный и счастливый подкаблучник. Владелец фирмы, отставной полковник, вдовец, видел в единственной дочери продолжательницу семейного дела и всячески поддерживал её амбиции. Отец был для дочери всегда образцом и примером – в противовес матери, «домашней курице», рано умершей от наследственной болезни. Видимо, она и передалась внуку.

Вся жизнь этой со всех сторон «упакованной» тридцатипятилетней женщины была продумана, организована и спланирована на годы вперед. Но не так давно начались депрессия, бессонница, мигрени, от которых не спасали лекарства.

Вика слушала собеседницу, разливала чай, переспрашивала, рассказывала о жизни в Австрии, о форумах деловых женщин, которые организовывала, будучи проректором, они обсуждали привычки водителей, моду и последние выставки современного искусства в России и Европе, короче, трепались два часа ни о чем. И договорились встретиться в то же время через неделю. На прощание клиентка первый раз улыбнулась.

Примерно через месяц Вика спросила, почему ей так необходимо стать директором фирмы. Та даже замерла на мгновение. И выдохнула:

– Но я же должна побеждать! Я не имею права проигрывать! – и засверкала яростно глазами: – Я, кстати, еще в детстве обещала отцу, что всегда буду первой!»

– И очень правильно, – отозвалась Вика. – Главное – понять, какая именно победа тебе важна. И она придет. Это называется правильно сформулированное намерение. Есть такая книга, правда, на немецком. Кстати, моя знакомая при её помощи наконец удачно вышла замуж. Но есть секрет: важно правильно сформулировать...

И начала рассказывать одну из своих любимых историй о том, как жизненное пространство трансформируется под влиянием энергии мысли и направленной интенции.

А на прощанье неожиданно для себя самой заметила: «Кстати, почему бы вам не вернуть своим волосам естественный каштановый цвет? Очень бы пошло...» Потом еще ругала себя за эту почти бестактность.

На следующей встрече вместо крашеной блондинки в дверях появилась очаровательная шатенка, даже складка между бровями расправилась. В руках – коробка с тортом.

– Сегодня день рождения мамы. её любимый, «Киевский». Она сама его делала – вообще отлично готовила, а торты – её коронный номер. Я их не ела, боялась потолстеть, в неё. И готовить не-

навидела... Знаете, мне её очень не хватает. И чувствую себя страшно виноватой...

– Ну это у всех... Мне тоже кажется, что я к своей маме была несправедлива, так многого не сказала... Но можно сказать это сейчас.

– Правда?

– Конечно.

– Я сегодня с ней разговаривала, – призналась она. – В первый раз. Ночью, когда работала в кабинете, как всегда. Не помню, как заснула. И голова с утра не болела.

Собственно, Вика её ничему не учила, никуда не направляла. Через некоторое время заметила какие-то неуловимые перемены в лице и фигуре, но ни о чем не спросила.

А вскоре потрясенный одноклассник позволил и сказал, что заместительницу как подменили, она больше не мегера; к тому же неожиданно объявила, что уходит в декрет. «Представляешь? Она после первого ребенка через неделю была в офисе, а тут... Ты гений!»

Так Вика стала коучем.

К ней приходили бизнесмены и их родственники, дизайнеры и блогеры, исключительно по рекомендации и строго в назначенное время. За два с лишним года круг клиентов расширился, установилась очередность и запись на месяц вперед. Вика поставила на комод антикварную

лампу, отгородила кровать в нише изящной японской ширмой ручной работы, купила дорогой чайный сервиз, ноутбук последней модели и домашнюю одежду престижного бренда. Респектабельно и стильно.

«Тебе бы еще одну комнату, для работы, – говорила старая подруга, забежавшая в гости в промежутке между “бабушкиной страдой” у трех внуков в разных концах города. – Вот тогда бы ты была просто королева! Вот бы кто тебе наследство оставил... А вдруг?» Подруга продолжала верить в чудо, стоически растила потомство дочери от трех мужей и подкидывала деньги четвертому, начинающему фотографу из глубинки. Верила и в идеальную любовь, которая достигнет когда-нибудь и ее, не может не достигнуть... Ей, только ей, Вика рассказывала о своей обиде не невестку, на сына, о той боли, которая не отпускала вот уже несколько лет... Подруга охала, плакала вместе с ней и убегала, крепко, как в юности, обняв напоследок.

Любила ли Вика свою новую работу? Она не знала, хотя нередко задавала себе этот вопрос. Подчас ловила себя на том, что её захватывает чужая жизнь, её хитросплетения, которые она медленно пыталась распутать вместе с клиентами, точнее, подталкивая их к тому, чтобы нащупали спасительную нить и сами выбирались из

лабиринта собственных ошибок, чужих козней и взаимных обид. Самое главное было не только внимательно слушать, но и побудить найти слова, дать имя тому, что мучает, погонять его звучание по небу. Люди боялись слов, боялись даже про себя их произнести и на самом деле зачастую не хотели ничего менять и жили именно так, как им было удобно. Амбиции, нежелание понять очевидное, еще раз амбиции...

И неутоленная жажда выговориться. Она никогда не подозревала, работая много лет в институте, что людям, вне зависимости от круга и социальной значимости, практически не с кем поговорить.

Не обязательно излить душу или поделиться сокровенным – просто быть выслушанным. Сколько раз видела, как после двух часов самого обычного трепа, без помощи даже нехитрых упражнений на расслабление или отстранение от травматического воспоминания, люди уходили просветлевшими, как будто стряхнув с плеч тяжелый груз.

Она научилась не осуждать, не настаивать, внутренне не приближаться слишком к собеседнику, сохраняя уважительную дистанцию, но в то же время – необходимую открытость и доверительность. В строго заданном, ею установленном формате. Иногда после сеанса она

подолгу сидела, уставившись в одну точку, пытаясь понять, сколько еще будет заниматься этим странным бизнесом, который, похоже, стал неотъемлемой частью существования современного человека. Догадываясь, что иногда подходит к какой-то зыбкой и опасной грани. Еще чуть-чуть – и она может подтолкнуть собеседника к принятию совершенно неожиданного решения, к формулировкам, которые ему чужды, пробудить какие-то спящие силы, и ей становилось не по себе.

Коуч – он кто? Гибрид исповедника, гейши и гипнотизёра? Материализовавшийся продукт фантазии Мэри Шелли, современный Франкенштейн? Повелитель тайных сил души, отрывка тремора перегруженной и травмированной ноосферы? Скромный индивидуальный предприниматель, который в силах зомбировать каждого второго, или добрый ангел, несущий спасение? «Коуч – двигатель прогресса», – написала она однажды на полях программки семинара по новым технологиям цветотерапии.

У нее сложилась репутация первоклассного специалиста, старые клиенты приводили новых, да и сами появлялись время от времени. Бывшую «мегеру с крашеными волосами» она пару раз видела в интернете – та открыла фонд помощи детям с редкими заболеваниями. А потом получила

от нее доставку с курьером – русский «Форбс» с её портретом на обложке: она стала филантропом года, а фонд «Виктория» – лидером по привлечению государственных и частных средств в борьбе с детским диабетом.

Кажется, в тот день или на следующий к Вике и пришла впервые Ада: она сидела на стуле в кухне, поджав ноги, пила горячий чай, стремительно опустошала вазочку с печеньем и листала «Форбс». Вика догадалась сделать ей бутерброды и не начинала разговор, пока та не наестся. Нахотленный цыпленок с фиолетовым синяком на скуле. Накануне, на демонстрации в защиту мигрантов, на нее напали националисты. Она не помнила, кто позвонил и попросил принять эту девочку без очереди. Помнила промелькнувшую мысль: как вообще этот мокрый цыпленок может быть журналистом? И вторую мысль: это какая-то Неточка Незванова...

У Вики было прежде несколько клиентов-журналистов, известных и не очень. Их амбиции часто оказывались больше, чем у бизнесменов и их женщин, и больше было внутренней расхлябанности, помноженной на уверенность в собственной исключительности, у некоторых – проблемы с алкоголем и абсолютная беспомощность в практических делах.

Ада была совершенно иная.

Она работала в сетевом издании, о котором Вика раньше никогда не слышала: социальная проблематика, неустроенность и бесприютность. Тяжелое чтение в целом, но иногда попадались вполне оптимистические репортажи, интересные сюжеты о благотворителях, спасателях, настоящих подвижниках: педагогах, волонтерах, даже полицейских. Ада работала вне штата, ей постоянно напоминали, что не имеет высшего образования, но довольно часто отправляли в командировки. В первый вечер она рассказала Вике о войне в Карабахе, куда поехала даже без задания от редакции: там оказалась в гостях у сестры подруга, замужем за армянином, которую с трудом удалось общими усилиями вывезти в Подмоскowie. Большинство её публикаций были о бездомных, стариках, мигрантах, обиженных женщинах, украденных мусульманскими отцами детей, убийствах чести и бесправии.

Тексты Ады не походили на привычные репортажи из горячих точек или форпостов социальной защиты. Часто без строгой композиции, четкого вывода. Сюжет развивался причудливо, как будто следуя за героями или автором в трудном пути, исход которого неясен. Жанровые приметы также угадывались с трудом: не то очерк, не то репортаж, в котором половина – даже не интервью, а монолог какого-то старика

или женщины. И невероятные детали, которые невозможно забыть. Как те же улетевшие от войны птицы или брошенные коровы. Как письмо, которое мальчик из лепрозория пишет девочке – соседке из своего бывшего двора. Как частушка, которую поет в интернате для психоневрологических больных, забытых родными, старуха-ветеранка. Читателя как будто выбрасывали без парашюта из люка самолета в чрево тайги, и он должен был сам, раздирая в кровь кулаки и колени, продираться сквозь чащу, впитывая все звуки и запахи непривычного, страшного, почти теряя надежду выбраться на свет.

– Зачем вам всё это? – в первый вечер спросила Вика. – Есть другие темы в конце концов...

Ада тихо сидела в кресле, завернувшись в плед. Шмыгнула носом, подняла огромные прозрачные глаза, ответила не сразу.

– Тут уютно, тепло. И вот эти женщины в журнале, красивые и правильные. И они, и вы просто не представляете, как живут люди. Сейчас, сегодня.

– Вы уверены, что у вас хватит сил всем им помочь? Может быть, есть другие варианты? Вам же больно самой...

Ада замотала головой.

– Нет. Но, по крайней мере, о них кто-то узнает.

– Но сколько людей? И что они смогут сделать? Это надо иначе, наверное, решать...

– Вот вы узнали. И кто-то еще. И еще.

Недели три Вика пыталась уговорить Аду сменить тему.

Потом Ада попросила вместе посмотреть в интернете трансляцию вечера в Доме музыки. На экране появился Владимир Спиваков и известный журналист. Оказалось, вечер посвящен Политковской и премии её имени. Из-за карантина в зале сидели с соблюдением дистанции, и на пустых стульях стояли портреты погибших журналистов, много – какие-то лица Вике были хорошо знакомы, какие-то нет. Как и лица присутствующих. Тут были и актеры, и музыканты, и журналисты, и политики – Вика узнала пару своих клиентов и улыбнулась. Премия называлась «Камертон» – настоящий серебряный камертон вручили журналистам газеты и их героям за репортаж из «красной зоны» в ковидной больнице и за расследование экологической катастрофы на Таймыре. Вика читала, оказывается, обе публикации.

«Елена Костюченко – самая лучшая журналистка в мире, – возбужденно говорила Ада. – Иногда мне кажется, я на нее похожа. Хотела бы походить. Она тоже из глубинки, тоже из бедных. Я читала интервью. Ей повезло, она в школе про-

читала Политковскую и решила стать, как она. А потом они вместе работали. А я прочитала “Голоса Беслана” Костюченко. Я на почте работала тогда, там интернет, и читала газеты, за которыми к нам приходили, и потом искала авторов, которые понравились. Когда-нибудь я хочу прийти в газету, если напишу что-то важное...»

Ада снимала вместе с землячкой комнату в Балашихе, обе не поступили в университет. Землячка работала продавцом в зоомагазине, вместе с ними жили две кошки, спасенные во время отлова бездомных (Вика не думала, что такая практика еще есть). Вместе кормили бродячих котов и собак во дворе, на что уходила значительная часть заработка. Гонораров Ады едва хватало, чтобы оплатить свою часть квартиры и купить еды. Шансов поступить на бюджетное отделение университета у нее практически не было – плохой ЕГЭ. Ей и правда не хватало образования, она не читала многих книг, даже из школьной программы. Вика всегда давала в дорогу почитать что-то из классики или современных авторов, купила специально для нее Василенко, Яхину, Пелевина и «Вечную мерзлоту» Ремизова. Пелевин Аде не понравился, а женщин она попросила поддержать у себя подольше, чтобы подруга прочитала.

Редактор, которого Вика ненавидела с каждой встречей всё отчетливее, отправлял Аду на рис-

кованные задания, зная, что она непременно найдет какой-то эксклюзив, открытую рану, и напишет так, как будто это её поранили. Прекрасно понимал, что девчонка будет сходить с ума и мучиться после каждого такого репортажа. С другой стороны, это как раз его приятель позвонил Вике и попросил срочно помочь. Вика нашла тренинги по преодолению травмы и по безопасности, даже пыталась проработать с Адой, но казалось, та сама не хочет отгородиться от боли, как будто её задача и есть – не описать, а испытать эту боль.

«Разве это журналистика? – думала Вика. – Это самоуничтожение, самосожжение, а не передача информации. Но зачем?!» И снова прокручивала их диалоги, которые запомнила дословно, до каждого вздоха, каждой паузы... «Ты, мне кажется, удочерила эту Аду, – заметила подруга, заскочившая, как обычно, впопыхах. – Вот не было у тебя дочки, так появилась – теперь ты меня лучше поймешь, почему так ношусь со своей».

Как в самое сердце попала.

У нее могла бы быть дочка, такая же, как Ада. Много лет не думала об этом, забыла. Самый тяжелый, последний их год с Гришей. Он почти не ночует дома, практически открыто живет с помощницей, вместе с ней ездит на деловые встречи в Европу. Вика гордо молчит, не провоцирует

скандал, хотя конец уже неизбежен. Не отказывается во взаимности, когда Гриша изредка остается в их постели, и даже верит наутро, что всё обойдется. Не обошлось. И когда он сказал, что поедет снова в Вену, на год без нее, спокойно предложила разойтись. Еще удивилась, дура, что сразу согласился. Про беременность и аборт ему не сказала. И ни разу не пожалела. Еще до этого как-то спросила у сына, первоклассника, хочет ли он сестричку. Нежный мальчик, такой ласковый, спокойный, вдруг задрожал, зарыдал в голос, убежал, плакал весь вечер. И потом долго прижимался к её животу, щупал подозрительно. Нет, у нее не могло быть других детей, только он, самый любимый, единственный. Которому она больше не нужна...

Только тетка, старая каэспэшница, геолог, потерявшая здоровье и мужа в экспедиции, поддержала в те дни (родители были категорически против): «Виктория, ты права. Помни, что означает твое имя. Победа. Ты будешь победительницей всегда». И тогда же – неожиданно для всех – подарила ей однокомнатную квартиру на Большой Дорогомиловской. Выручала потом эта квартира, кормилица... И теперь выручает.

Ада позвонила на следующий день и опять извинилась: срочно писала текст для большой газеты – так она сказала – и обещала обо всем подробно отчитаться завтра.

Вика снова села пить заготовленный для Ады травяной чай. И тут зазвонил стационарный телефон. Она вздрогнула – отвыкла от этого звонка; кажется, с того момента, как сюда переехала, телефон никогда не звонил. Даже думала отключить его, чтобы не переплачивать за ненужную опцию, но почему-то не отключила.

«Это Герда, – услышала в трубке низкий знакомый голос. – Я к тебе зайду?»

Герда – старая теткина подруга, с которой они вместе строили город Мирный, спали в палатках. Рассказывали: если головой к печке, голову обжигает, а ноги мерзнут, и наоборот... Тетка отморозила себе всё, а Герда родила сына, подруги воспитывали его вдвоем – отец ребёнка не участвовал, а тетка говорила, что ему родители, блокадники, не позволили жениться на этнической немке...

Герда всегда сваливалась как снег на голову, Викины родители еще удивлялись: как так можно? Не в тундре ведь живем, телефоны у всех есть... Сколько лет они не виделись? Двадцать пять? Вскоре после развала Союза Герда вышла замуж в Мюнхен за экологического активиста и уехала вместе с сыном на ПМЖ. На похороны тетки прислала огромный букет цветов, зимой, все тогда удивлялись... И сколько ей сейчас? Восемьдесят? Восемьдесят три?

Герда пришла через полчаса, быстрая, как всегда, по-молодому расшнуровала кроссовки, не присаживаясь на табурет, сняла маску, санитайзером из кармана побрызгала на руки и на рюкзачок. Потянула носом: о, алтайский, сагандайля... А ты молодец! И пошла на запах, на кухню.

Вика разлила чай. «Герхард умер полгода назад, – сказала Герда и выложила из рюкзачка пухлый конверт, перетянутый резинкой. – Боролся до конца, настоящий мужик. Мы хорошо с ним прожили. Это от него. Сто пятьдесят тысяч евро. Я не стала с банками связываться, окешила дорожные чеки. Пусть проценты, зато тебя никто не назовет иноагентом, у вас теперь это строго, сама знаешь».

Вика начала было протестовать.

«Нет, это его воля. Он сказал, чтобы я часть денег отдала друзьям, которые мне помогли в России. Веры больше нет, она была мне самым близким человеком, Алика растили вместе. Мне Герхард достаточно оставил, и Алик зарабатывает хорошо. А тебя Вера очень любила, как дочку. Пусть будет о ней память. И обо мне».

Герда посидела часа полтора, рассказывала о внуках, о работе в благотворительном фонде, о месяцах ковида в Мюнхене, о новых земельных порядках, о соседях и ушла так же неожиданно,

как появилась. Встала, потрянула седой челкой: «Пора».

Вика раскрыла пакет, пересчитала купюры. Ровно сто пятьдесят тысяч евро. Почти полтора миллиона. Пожала плечами. Сунула в ящик стола. Из ящика выпал листочек с телефоном риелтора – видимо, забыла выбросить. Когда-то, только переехав сюда, она искала в районе двухкомнатную квартиру: сразу обнаружили два варианта, недоставало как раз полтора миллиона...

Позвонила подруга: «Что у тебя такой странный голос? Неужто наследство получила?» Вика рассказала про Герду. Говорили до полуночи, подруга вызвалась приехать назавтра, отложив дела, и всё обсудить.

Ночью Вика видела странные сны. Тетка сидела на диване и рассказывала о своем детстве, о том, как забирали родителей (Вика забыла напроць об этом эпизоде) и как они с Викиным отцом вдвоем отправились в деревню к дальним родственникам, чтобы их не отдали в детский дом... Герду провожали в Германию, пили разбавленный спирт «Роял»... Они с Гришей ехали в ЗАГС, Вика нечаянно зацепила каблучком платье и его склеивали пластырем... Концерт под открытым небом в Вене, кружевное барокко и синее небо, нереальное, как весь этот город... Маленький сын вскочил и пытается дирижиро-

вать... Невестка вызвала слесарей менять замок в родительской квартире. Дедушка проверяет точность звука, камертон в руках...

Утром она встала рано, положила в сумку пакет и отправилась в банк. Копия паспорта Ады нашлась среди бумаг, сохранилась с тех пор, когда ей заказывали билет в Архангельск. В банке она оказалась первой клиенткой и быстро открыла счет до востребования на имя Ады Владимировны Куценко.

На город обрушился ливень. Вика поняла, что забыла зонт. И вспомнила вдруг, как они с подругой после экзамена бежали по дождю этими же улицами к тетке, перепрыгивая через лужи; вспомнила и то давнее чувство легкости и радости. И улыбнулась, как будто вернулась в прежнее время.

Она шла по новенькой плитке, не замечая, что промокли туфли, размазалась тушь, что мокрые струйки затекают за воротник, не слыша звонящего телефона, и продолжала улыбаться, сама не зная чему...

---

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ

**Т**етю Розу Вера увидела во сне в ночь на 9 мая. Она стояла у клумбы с распускающимися красными тюльпанами, в летнем платье в крупный горошек, и махала ей рукой. Вера прижалась к дереву, огромной старой черемухе в крупных кистях-соцветиях, пряный запах забивал ноздри, она хотела крикнуть что-то тете Розе, но та уже исчезла. Точно, это парк в их подмосковном поселке на улице Ленина, только черемуха росла не там, а на Вокзальной, неподалеку от станции...

Вера проснулась. Заледенели ноги, она быстро сбросила два одеяла, нашла толстые пуховые носки. Забыла надеть вечером, последнюю неделю без носков спать было просто нельзя, несмотря на работающий масляный обогреватель. Могли бы не отключать отопление хотя бы в карантин.

Запах черемухи не проходил, наполнял холодную комнату.

Она пошла на кухню ставить чайник.

Неужели всё-таки заразилась? – Это была первая мысль. Пишут, что при ковиде первым делом

пропадает обоняние, главный угрожающий симптом. А вдруг наоборот? О вирусе писали разное, он непонятный, в сети обсуждают последствия его воздействия на нервную систему и органы чувств.

Вера взяла градусник, померила на всякий случай температуру. Но температура была нормальная и голова ясная, несмотря на то, что допоздна вчера проверяла работы китайцев о Дне Победы и даже переписывалась с одной студенткой, лучшей из группы, которая упорно не понимала разницу между совершенным и несовершенным видом. «Советский Союз побеждал в Великой Отечественной войне» – вместо «победил».

Китайцы изматывали, но ей было их жаль: многие не смогли вернуться домой из-за эпидемии, с ними никто не хотел общаться, и в доме аспиранта и студента они стали еще большими изгоями. Хорошо, что еще стипендию платили (из КНР заранее перевели университетскому центру деньги), но о привычной подработке, доставке еды или китайских закусок, пришлось забыть. А как им без них? На уроках многие спали или играли в какие-то игры на гаджетах, она это видела, но старалась не раздражаться и ставила всем положительные оценки. Пусть у них будет шанс.

Тетю Розу она никогда не видела во сне. И в жизни видела её последний раз, кажется, лет тридцать назад, уже больную раком, перед отъ-

ездом в Израиль на ПМЖ. Сын Григорий уехал раньше. Тети Тани тоже не было, она лежала в больнице с почечной недостаточностью. Вера мучилась грудницей, прибежала попрощаться. Помогать со сборами не пришлось – молчаливые сотрудницы еврейской организации всё сделали сами. Роза продала организации квартиру за две тысячи долларов, которые аккуратно и со знанием дела зашила на глазах Веры в белье и подкладки. Кажется, тогда еще не разрешали вывозить из страны валюту.

Она сидела в огромном кресле, грузная, и тяжело дышала. Но глаза светились, как всегда, озорным блеском.

– На посошок?

– Я кормящая, мастит...

– Да ладно, ладно, – она махнула рукой, – как будто я не знаю, как это. Только больше сцеживаться будешь. Смотри, что у меня есть, из Танюшкиных запасов. – И удивительно ловко, не поднимаясь с кресла, открыла шкафчик, достала пол-литровку, налила в граненые стаканы, заставила выпить. Украдкой взглянула на дверь: – Мне не разрешают, глупые. Не понимают.

Бесшумно спрятала бутылку и стаканы, откинулась.

– Головку держит хорошо? – спросила о сыне. – Уже сидит? Ну молодец, молодец! Как Виктор?

Рисует? Видела его на митинге. Не отпускай его, он тебя любит.

Вера помнит, как эти слова укололи. Тетя Роза не спросила о ней, о том, как она себя чувствует, сразу о Викторе. Как будто её и нет совсем. И когда она успела на митинг, ведь почти не ходит? Попрощались скомканно. Думали, на время, оказалось, навсегда.

Тетя Таня ненадолго её пережила, совсем замкнулась, похудела, ей назначили гемодиализ. Перед тем как лечь в клинику, она позвонила Вере, попросила приехать и передала завещание на свою однокомнатную квартиру на Студенческой улице. На похороны Розы её не пустили, это, кажется, было главное, о чём она искренне жалела. Велела себя кремировать.

К ящику в колумбарии Новогириеевского кладбища Вера приезжала каждый год в её день рождения – 7 ноября. Всовывала цветы в углублении и вспоминала всех близких: похороненных в Забайкалье родителей, дедушку с бабушкой, тетю Розу, Виктора... Задавалась вопросом: почему она их всех, в сущности, так мало знала? Было бы что-то в жизни иначе, проживи они дольше? Смогли бы они с Виктором прожить долго и счастливо вместе?

Отсутствие тети Розы Вера чувствовала очень остро после развода – в душе образовалась зияю-

щая пустота, сын болел, работа не ладилась, денег постоянно не хватало. Ночами, умирая от усталости за тетрадками учеников, в постоянной простуде, она вспоминала тетю Розу, склонившуюся за пишущей машинкой, в бигуди, чтобы завтра идти на работу, с папиросой, окантованной неизменной помадой. И сон уходил. Всё это было давно, в позапрошлой жизни, и вспоминалось с трудом.

Вера заварила кофе. Включила прямой эфир радиопрограммы, там говорили о начале праздничного воздушного парада и рекомендовали москвичам смотреть на него по телевизору и не подвергать себя риску, выходя на улицы.

Выключила радио. Все дни вынужденной изоляции, особенно когда стало ясно, что это надолго и непонятно, как быть, а пропаганда подготовки к юбилею Великой Победы нарастала день ото дня, ей постоянно хотелось отмыться, как будто лично участвовала в чём-то постыдном и липком.

Интересно, что бы сказала тетя Роза, увидев всё происходящее. Наверняка нашла бы какое-нибудь словечко. Тетя Таня – она всегда была прямая, чёткая – припечатала бы ёмко и без купюр...

На самом деле, дальней родственницей Веринной мамы была тетя Таня, медсестра военного госпиталя, к которой Веру в пятом классе отпра-

вили после гибели родителей на Дальнем Востоке. Тетя Таня жила в просторной трехкомнатной коммуналке в «генеральском доме» на Фрунзенской набережной – занимала меньшую комнату, в двух других располагалась семья подполковника, с дочерью которого тетя Таня вместе служила. Роза, тоже фронтовичка, была третьей подружкой, приходила к тете Тане почти каждый вечер.

Они были совершенными антиподами: тетя Таня, высокая, худая как жердь, с неприбранными соломенными волосами, в неизменном бесформенном сером сарафане, и маленькая пышнотелая Роза с голубыми тенями и яркой помадой... Жена подполковника ворчала, когда подружки засиживались допоздна в Татьяниной комнате и курили или когда Роза вообще оставалась ночевать и, в розовом халате с райскими птицами и оставшихся с ночи бигуди, неизменно накрывала на всех завтрак – заваривала только что смолотый кофе и разливала его по тонким фарфоровым чашкам с ангелочками из красивого кофейника. На завтрак она резала колбасу, которой Вера никогда раньше не видела, удивительно вкусную, копченую, с тоненькими крапинками жира, открывала банку икры (из «лечебного питания», которое привозил по пятницам утром солдат в форме) – Вера не понимала, от чего лечится сосед. В их гостиной было много диковин-

ных вещей: красивые вазы, инкрустированная перламутром этажерка, картины на стенах, в основном, пейзажи, гроты и приморские деревушки в золоченых рамах, и огромный рояль, на котором целое собрание статуэток – греческие богини, орлы, снова ангелочки и коллекция словариков.

– Что такое трофейное? – спросила Вера однажды за завтраком, вспомнив непонятое слово.

Татьяна скривилась. Соседка сказала: это из Германии.

– Из магазина «Лейпциг»? – догадалась Вера. её новая одноклассница рассказывала, что мать работает кассиром в «Лейпциге», где «выбрасывают» красивые кофточки и настоящие тонкие колготки.

– Из города Лейпцига, – строго сказала соседка. И перевела разговор.

Тети Танина комната была аскетична: узкая панцирная кровать (вторую поставила для Веры), тумбочка, шкаф, полки с книгами, огромное старое кресло, стол. Идеальный порядок не принято было нарушать, за разбросанные вещи Вера немедленно получала выговор. Тетя Таня уходила из дому в шесть, поднимала Веру, заставляла делать вместе с собой зарядку, потом – обливание холодной водой, несмотря на насморк и Верины слабые попытки сопротивляться. У нее был рез-

кий голос и тяжелая рука, она могла дать Вере подзатыльник за невыученные уроки или минутное опоздание и не разрешала открывать книжный шкаф, пока не выучены и не пересказаны уроки и не составлен план выступления на политинформации. Вера надолго запомнила её строгий взгляд. И потом, через много лет, с удивлением замечала за собой ту же придирчивость и занудство в общении со студентами, привычку по несколько раз повторять и требовать повторения сказанного...

Тетя Роза была неряшлива и говорлива: за столом без конца роняла крошки, которые тетя Таня спокойно собирала, а тетя Роза извинялась и снова роняла; её вещи, казавшиеся особенно яркими на фоне ровной серой гаммы комнаты, всегда были повешены второпях и криво; на страницы машинописи, которые она всякий раз приносила тете Тане, Роза нечаянно капала чаем и просыпала пепел. Таня монотонно укоряла, а подруга в сотый раз просила прощения и обещала, что такое не повторится никогда. При всей разительной несхожести, в них ощущалось какое-то глубинное родство и понимание, они часто продолжали мысль друг друга, не дослушав фразу до конца, синхронно сердились или радовались; только с тетей Розой, заметила Вера, тетя Таня улыбалась, переставала сутулиться. У тети

Тани в шкафу всегда стояла бутылка медицинского спирта – они с Розой наливали по четверти стакана, запивали водой из графина. Татьяна приносила из холодильника соленые огурцы, они закуривали папиросы, читали стихи с тех машинописных страниц, которые приносила с собой Роза, и другие тексты, пугающие и непонятные, и разговаривали, не обращая внимания на Веру, которая не раз засыпала в кресле под звуки их голосов. Но какие-то обрывки заставляли проснуться. Это было про страшное. Трубы, собаки, Север.

– Откуда трубы? Водопровод? Какой? Как у нас в поселке? – продирая глаза, спросила она.

Подруги замерли на мгновенье.

– Спи, дорогая, – нашлась тетя Роза. – Мы читаем письма о том, как глупые люди убивали других людей за слова. И это очень плохо. Это не должно повториться.

То, что слова обладают реальной силой и могут принести беду, она поняла быстро.

Когда после урока мужества, где показывали фильм про ленинградскую блокаду и дневники погибших от голода детей, Вера написала в сочинении, что, может быть, следовало отдать город, чтобы спасти детей и женщин, учительница задержала её после урока. В тетрадке алела жирная двойка.

– Ты должна уничтожить это сочинение, – сказала она. – И никогда так больше не говорить и не писать. И завтра пригласи в школу родителей.

На собрание пошла тетя Роза – тетя Таня работала. После этого вопросов к Вере больше не было.

Она поняла, что есть слова, которые лучше не называть при малознакомых: вохра, смерш, заградотряд, вертухай, АЛЖИР и другие. Хоть и не понимала их значения – как и матерных конструкций, которыми и Татьяна, и Роза владели виртуозно.

– Расскажи про войну, – просила Вера, – нам задали про подвиги наших дедушек написать, а у меня нет дедушки – только вы с тетей Таней: она зенитчица, а ты вообще партизанка, Герой Советского Союза.

– Только один орден Красной Звезды, не путай. Это ваш сосед пайки получает, – отнекивалась Роза.

– А что самое главное было на войне? Расскажи!

– Была любовь, – тихо ответила она.

От Розы, точнее из ночных разговоров, она впервые узнала о том, как убивали евреев.

– Но за что, тетя Роза? И детей? За что?! Почему немцы хотели убить всех евреев?

– Не все. Были те, которые нас спасали.

Вера не очень хорошо понимала, кто такие евреи. В классе были дети с самыми разными

фамилиями и внешностью, били вне зависимости от этого и издевались тоже. Но когда через пару дней услышала, как Олька, главная хулиганка школы, отец которой недавно второй раз сел за грабеж, называет жидовским отродьем всеми презираемого за мелкое стукачество хлюпика и зануду Веньку Шалтупера, Вера подождала её на перемене в туалете, прижала, невзирая на могучее сложение противницы, к стенке и, страшась самой себя, извергла все матерные слова, которые запомнила из Татьянинных и Розинных разговоров.

– Так ты тоже? Я не знала, – оправдывалась ошалевшая Олька, – прости, больше не буду.

И правда, отстала от Веньки.

О родителях она вспоминала каждую ночь. Чаще всего, как они втроем идут по подмосковному поселку, вечером, от их улицы Ленина к станции, чтобы отправиться на электричке на Красную площадь. Цветет черемуха. Перед станцией дорога идет в горку, Вера отстает, и отец сажает её на плечи, и кисти черемухи касаются её лица, она отмахивается и крепко держит отца за шею, он что-то громко рассказывает, и мама заворуженно слушает и смотрит каким-то необыкновенным взглядом... В электричке душно и тесно, потом они идут в метро: фигуры взрослых и детей, обтекаемые толпой, все торопятся, как

и они. И вот наконец Красная площадь: она снова на плечах у отца, как и все дети, и смотрит, как в небе один за другим вспыхивают и гаснут мерцающая разноцветные букеты... По дороге назад в поселок она крепко спит на руках у отца. Сколько раз, заново переживая это, она грызла молча тощую подушку и хотела умереть. Однажды, когда тетя Таня ушла на ночное дежурство, решилась...

С подоконника её сняла тетя Роза: взяла на руки, положила на койку. Откуда у нее такая сила?

– Твои родители всё видят, не надо их огорчать, – она гладила Веру по волосам, по мокрым щекам, – ты должна думать о том, чтобы они могли быть тобой довольны...

Она запела на непонятном языке, и Вера уснула.

Через несколько дней случился День Победы: в сквере на набережной цвела черемуха, и Вера вместе с тетей Таней, тетей Розой, соседями и еще целой толпой нагрывавших в квартиру знакомых пошла на Садовое кольцо. Движения по Садовому не было, из всех переулков в море людей на главной магистрали вливались новые ручейки и двигались по Метростроевской к центру, люди несли цветы, пели и плакали. Рядом с улицей Тимура Фрунзе громыхнула пушка салюта, потом – еще, с другой стороны, и вот уже всё небо в ослепительных лучах и искрах – им нет

конца, и море людей тихо колышется, как будто море, и дышит, дышит... Тетя Таня и тетя Роза крепко держат Веру за руки, у нее мурашки по спине, и каждый взрыв искр отзывается в висках и сердце...

После Дня Победы она заболела: не простудой, врачи нашли ревмокардит и положили в клинику на Пироговке, потом отправили в санаторий, где она провела почти год и узнала много интересного и страшного о жизни в советских интернатах. Дисциплина, воспитанная тетей Таней, а также расширенный, благодаря тете Розе, словарный запас помогли продержаться и добиться уважения в новой среде.

А через полтора года её забрал в свою семью папин брат, капитан дальнего плавания, получивший квартиру в Москве на Юго-Западе.

В старших классах она чаще приезжала после уроков, сославшись на общественную работу, не к тете Тане, а к Розе, на Арбат.

С тетей Розой она могла поговорить, о чем с тетей Таней не решилась бы никогда: как предохраняться, что делать, если парень изменил с подругой или когда на комсомольском собрании требуют публично осудить невиновного. Тетя Роза слушала её исповеди часами, качала головой, поила чаем, роняя иногда в заварку пепел, успокаивала:

– Оставайся всегда собой, это самое главное. Не бойся потерять. Самое страшное – потерять себя. Жизнь длинная.

Роза сгорбилась, все вечера печатала на машинке – дипломы и диссертации, а больше слепые ксероксы. Вера прочитала «Мастера и Маргариту», «Чонкина», «Колымские рассказы». Складывала перепечатанное в дорожные сумки. В других сумках хранились продукты: крупа, конфеты россыпью, папиросы. Иногда к ней приходили люди, молча брали заготовленное, уносили. Как-то Вера пыталась предложить помощь, но Роза её резко оборвала.

На первом курсе педагогического (обе, Таня и Роза, одобрили её выбор) она познакомилась с Виктором. Виктор учился в полиграфическом, мечтал стать графиком, рисовал с друзьями на Арбате, его задерживала милиция, Вера вступилась за него как раз в момент милицейского рейда и буквально вытащила из патрульной машины, имитировав семейную сцену.

И притащила сразу к Розе. Дома был сын тети Розы, конструктор из секретной лаборатории, они немедленно напились. И встречались потом почти каждую неделю. Потом Вера даже ревновала, что Виктор стремится к Розе слишком часто.

К другим друзьям и соратникам по демократическим сходкам, где он пропадал всё больше,

особенно после того, как они расписались (Вера уже ходила с заметным животом), не ревновала почти совсем. Хотя нет, было несколько раз – она даже сцены устраивала, когда сын болел, а компания на кухне бурно обсуждала последние события. Напрасно, впрочем – всё повторялось снова и снова. Вера падала с ног от усталости, укачивая малыша, одновременно пытаясь сосредоточиться на материале к очередному зачету под привычные уже звуки ночных посиделок за стеной, но буквы расплывались, слёзы жгучей обиды лились по щекам. Виктор не понимал, почему она плачет, обнимал её пылко, но снова убегал... В ответ на просьбы хотя бы пару дней побыть вместе, без посторонних, дома, отшучивался: «Одиночество вдвоем не для нас»...

Они прожили почти семь лет. Когда невестка недавно спросила, почему они развелись, Вера растерялась.

– Но вы ведь любили друг друга? – настаивала та.

Вера промолчала: хотела было рассказать, но передумала.

В канун 9 мая 1989 года Виктор погиб – разбился на машине. Они с друзьями торопились в Германию, на митинг против Берлинской стены. Бушевала перестройка, Виктор пропадал на митингах, рисовал плакаты гражданских акций, Вера пыталась найти детское питание для малыша,

выбивалась из сил... На развод подала от обиды и одиночества, муж этого, кажется, даже не заметил...

Могли бы они жить вместе, останься он жив? Она так и не могла ответить сама себе.

Вера не заметила, как наступил полдень, время онлайн-семинара с китайцами. Могли ей дать других учеников? Индусов или хотя бы турок, их достаточно в образовательном центре. Или виной – её участие в протестных письмах против обнуления Конституции, которые многие преподаватели так и не решились подписать, и администрация просила не ввязываться?

Через три часа, измочаленная, она присела выпить кофе и передохнуть.

Тетя Роза и тетя Таня, что бы вы сказали сегодня, посмотрев на нее?

Почему так мало с вами встречалась в последние годы? Да, тетя Таня не поняла перестройки: она осталась коммунисткой, её моментом счастья была публикация предсмертного письма Бухарина в «Огоньке», она верила в социализм с человеческим лицом. И работа, которую Виктор послал на выставку к Дню Победы, ей не понравилась: Вера с Розой за столиком в сквере, бутылка и граненые стаканы, в духе Пикассо, «Любительницы абсента». Работу не взяли, посчитали клеветой на образ фронтовиков... Розе, кажется, понравилось...

Не первый раз за время изоляции она возвращалась мысленно к прожитым годам, пытаясь разглядеть что-то важное, ускользающее. Может быть, изоляция для того и была дана, чтобы остановиться и приглядеться к себе? Об этом они говорили с коллегами после очередных заседаний в непривычном электронном режиме.

Почему её жизнь сложилась именно так? Почему не вышла замуж снова? Об этом спрашивали подруги. Она сама не знала. Не то чтобы ни с кем не хотела встречаться, или не было возможности, или сын был против – как раз нет. Но что-то в последний момент не складывалось, и по её вине. С одним из несостоявшихся мужей она до сих пор созванивалась едва ли не каждую неделю, почти дружила, а с его новой женой они ходили несколько лет на фитнес в один клуб.

– Ты продолжаешь его ждать, – сказала ей однажды гадалка, совсем давно.

Вера не поняла, отмахнулась. Кого еще? Она сама, сама всё для себя решила: организовала уютный дом, продала дачу и помогла семье сына с ипотекой, наладила круг знакомых и собственный покой... Но какая-то смутная мысль не отпускала все дни изоляции, и она застывала в кресле, с остывающей чашкой кофе, как будто вспоминая что-то важное, что никак не хотело вспоминаться.

Ближе к вечеру раздался звонок по городскому телефону, о существовании которого Вера успела уже подзабыть:

– Это Григорий. Сын Розы, помните? – и сказал, что хотел бы зайти, в Москве всего на два дня.

Вера поймала себя на том, что ничуть не удивилась. И вспомнила, что они не виделись тридцать четыре года. Григорий приезжал забрать тетю Розу домой из смоленского постпредства, где бурно праздновали День Победы и где были Вера с Виктором.

Он почти полностью поседел, но выглядел по-прежнему подтянутым, двигался стремительно, белозубая улыбка, совсем не на 73. Импозантный джентльмен. Европейец.

– Завтра День Победы, – и открыл коньяк.

– Я даже рада, что отменили официальные мероприятия, слишком противно, – сказала Вера. – Хорошо, что Роза не видит.

– Может быть, она и видит, – ответил Григорий. – А ты практически не изменилась. Такой же упрямый взгляд, и принципиальность...

– Но как ты сюда смог приехать? Ведь в Израиле карантин самый жесткий?

– Борьба с терроризмом не знает карантина. Выпили.

– Всегда любил эклеры из кулинарии «Украины», у нас в Тель-Авиве так не научились.

Он снова наполнил рюмки.

– Ты знаешь, я его нашел. Своего отца.

– Кого? – не поняла Вера.

– Его звали Ганс Гиберт, лейтенант вермахта. Ему было 23 года. Мама сказала перед смертью, уже в Иерусалиме.

Молодой немецкий офицер встретил в оккупированном поселке под Смоленском Розу, у которой полицаи забрали брата. Брата отпустили, а в Розу он влюбился, поселил у себя на квартире. Он был помощником коменданта поселка и потом несколько месяцев выдавал документы на разрешение покинуть поселок десяткам людей, в основном евреям. Когда по доносу в комендатуру прислали проверку, он отправил Розу, уже на сносях, на телеге в соседнюю деревню, откуда она попала к партизанам. Роды были трудные – едва не умерла. Командир отряда сам принимал Гришу (был фельдшером) и написал, что ребенок его. Вскоре погиб. Новый командир отряда, быстро сделавший карьеру после войны, взял Розу с собой в Москву в качестве личного секретаря. Его жена её ненавидела, подозревала, что Гриша от него, и в конце концов Роза ушла работать машинисткой-стенографисткой в министерство, до самой пенсии.

– Он был единственный сын у матери, она умерла еще до конца войны. Никого из родных

не осталось. Похоронен на немецком кладбище в Смоленске: там полный порядок, власти следят, и родственники приезжают. Чище, чем наши братские могилы. Непросто было выяснить. Но ребята из немецких служб помогли. И наши израильтяне, конечно. Хотел узнать, как он погиб. Из-за мамы или иначе. Написано – при отступлении. И всё.

– Что ты чувствуешь?

– Не знаю. Моей дочери, кажется, всё равно. Она в кнессет собирается. Шансы высоки, между прочим. Жена на русском не говорит, она из Испании. Внучка в армии, в разведке. Как я? Нет, онлайн. Ловит хакеров. Снимается в феминистских клипах на ютьюбе. Посмотри, он достал телефон, нажал на кнопки: юная Роза, только с фиолетовыми волосами и в камуфляже, пела на иврите.

– Боже!

– Правда, похожа? Вот еще посмотри. (На фото прямо в объектив смотрел Григорий, такой, каким она его впервые увидела в подмосковном поселке. Только стрижка другая. И форма...)

– Послушай, так это...

– Перед отправкой на Восточный фронт. Хотел быть физиком, учился в университете в Лейпциге. Я видел записи экзаменов. Круглый отличник. Интересовался аэродинамикой, воз-

можностями полетов в космос. Жаль, что у меня нет сына. Может быть, ему было бы интересно. У тебя есть дети?

– Сын и внук. Он химик, как мой отец. И жена тоже. Работают в немецкой фирме. Теперь все на удалёнке.

– Ты?

– Преподаю русский как иностранный китайцам. Скоро мы все будем говорить на русском как на иностранном, мне кажется. Может быть, так проще лишать всё смысла. И совести тоже. Я подарила дому ветеранов телевизор. Тошно слушать. Особенно про Победу. Можем повторить, и всё такое.

– Я много работал с заложниками. Коллеги даже удивлялись, почему мне удастся. А мне иногда кажется, мы все – заложники.

– Чем дальше от войны, тем больше врут. Мультки показывают про звездные бомбардировщики, студенты думают, что всё это и есть кино, придумывают квесты про блокаду Ленинграда, в детсаду репетируют взятие Берлина... И некому уже им сказать... Все вооружаются, как в моем детстве, когда мы на уроках разбирали автомат Калашникова и готовились к войне с Америкой...

– Слушай, как я мог забыть! – он совсем помолодому вскочил, аккуратно вытащил из порт-

феля картонную старомодную папку. – Это тебе, держи. Аккуратней только.

В папке оказалась лишь одна страница, старая пацифистская листовка, в желтоватых пятнах, что-то против дедовщины и милитаризма, несоместимого с перестройкой.

Григорий жестом попросил перевернуть.

Татьяна и Роза в сквере у гостиницы «Украина» за столиком, початая бутылка и два граненых стакана, и огромный куст цветущей черемухи. Рисунок черным фломастером.

– Виктор просил передать. Мы встретились на митинге, потом пошли в бутербродную – он собирался в ГДР, с художниками. Меня из-за этого митинга выгнали из лаборатории – оказалось, к счастью, иначе бы мы с мамой никогда не уехали. Но тогда я очень переживал. Виктор быстро нарисовал и просил тебе передать до его отъезда. Прости, что не успел.

– Послушай, так он, оказывается, про меня...

– Про Виктора узнал позже, но тут меня начали в органы таскать, и мама заболела, потом мы были в подаче... Но я помнил и даже увез с собой, верил, что передам. Да, он про тебя всё время думал. И думал, что вы снова сойдетесь, когда он вернется. Как хорошо, что ты оказалась дома. Ну, я пойду. Нет, сначала на посошок. Неизвестно, когда снова увидимся. Виктор знал, что ты его любишь.

Веру душили слезы...

– Не чокаясь.

Она кивнула, пытаясь что-то сказать.

– Мне несколько раз было очень плохо. И тогда я разговаривал с мамой – она приходила ко мне. И спасала. Даже когда это было невозможно. Я не верю в бога, ни в какого, я по воспитанию физик и атеист. Но я знаю, что наши самые любимые видят нас. И пока так, смерти нет. Я так думаю. Ты знаешь, я болен, давно. Врачи не пускали в Москву, особенно сейчас, эпидемия. Но я должен был тебя повидать.

Зазвонил мобильник, неожиданно, громко. Невестка с сыном сообщили, что у них антитела, и у внука тоже – оказалось, переболели еще зимой, а они и не знали, думали, что грипп, и они завтра готовы наконец к ней приехать и вместе отметить День Победы.

Григорий засобирался, достал из портфеля респиратор, перчатки.

– Ну, будь.

– Всё будет хорошо! Приезжай! Ты непременно поправишься, и мы вместе...

– Да, непременно.

Он быстро обнял её и ушел.

Вера вернулась к столу, не в силах оторваться от рисунка. Не заметила, как наступил вечер, как пищал переполненный сообщениями телефон.

Поздно вечером по городскому позвонил встревоженный сын, не понимающий, почему она не отвечает на сообщения, и еще больше взволновался, услышав, что Вера получила старое письмо от давно погибшего отца, которого он едва помнил.

– С тобой всё в порядке?

– В полном, – спокойно ответила Вера. – Я узнала, что он меня всегда любил.

– Слушай, ты устала от своих китайцев, я попрошу своих немцев тебе новое снотворное достать, у них многие на него перешли в эпидемию.

В эту ночь она впервые с начала эпидемии заснула легко и спокойно. Ей снилось, как они идут с родителями с улицы Ленина к Вокзальной, она на плечах отца, и ветки черемухи касаются лица.

---

## НЕБО В АВГУСТЕ

Рано утром на дачу позвонил муж и сказал: смотрите телевизор. Кратко сообщил, что будет с коллегами-депутатами из межрегиональной группы и велел не приезжать в московскую квартиру. Телефон, редкость в нашем посёлке (спасибо бабушке, секретарю местной парторганизации), стоял на тумбочке в коридоре, звонок разбудил всех. Бабушка немедленно включила маленький японский телевизор «Сони», который в прошлом году муж привёз из первой поездки молодых политиков в США. Все члены делегации тогда, выходя из зоны прилёта в «Шереметьево», несли одинаковые коробки с техникой известной фирмы – оказалось, их перед вылетом завезли в магазин электроники. Но тогда они мне напомнили членов редколлегии газеты с коробками обуви «Саламандра» после закрытой распродажи. Я даже устыдилась такого воспоминания...

Но телевизор работал отлично, ярко передавал цвета и преодолевал несовершенство связи Подмосковья, нашпигованного военной техни-

кой, разного рода локационными станциями и глушилками. Хотя глушить вроде бы перестали, но отечественный «Рубин» принимал сигнал через пень-колоду, изображение постоянно сбивалось. Японский же собрат оставался на высоте.

По телевизору показывали «Лебединое озеро». Заныло под ложечкой: я вспомнила, как это уже было (хоть и выглядело не так чётко на экране «Рубина») и было несколько раз, когда умирали вожди. В первый раз я не поехала на свою родину, в Томск. С большим трудом упростила коллегу, отвечавшего за десант нашей газеты, включить меня, тогда ещё стажёра школьного отдела, в группу. Он сам был из Томской области и поддержал. Но умер Брежнев, десант отменили, перед сообщением о смерти лидера по ТВ бесконечно показывали балет Чайковского. Впоследствии это стало чем-то вроде традиции. А потом началась перестройка...

Мама быстро сварила взрослым кофе, сыну кашу, мы переключали каналы. Наконец попали на новости: знакомая дикторша с перекошенным лицом и круглыми глазами назвала странное сочетание букв – ГКЧП.

Я быстро собралась, села в машину и поехала в редакцию журнала, куда совсем недавно перешла из газеты. Журнала, лучшего, как я была уверена, в стране.

Я бодро рулила на «жигулях» – знакомый маршрут. Мимо города Железнодорожного (бывшая Обираловка, где Лев Толстой бросил Анну Каренину под поезд, – активисты готовили установку на станции памятной доски в честь знаменитого романа и его героини; наш журнал об этом сообщал), мимо чудом сохранившегося домика Андрея Белого перед тоннелем; мимо зловонной зверофермы (там выращивали и свеживали соболей и нутрий), которую надо было пролететь, прочно задраив окна, хотя и это не слишком помогало; по Горьковскому шоссе (бывший Владимирский тракт, по которому шли очень многие герои и авторы классических произведений); мимо дивизии Дзержинского на шоссе Энтузиастов.

На шоссе со мной поравнялись танки. Я не сразу это поняла, хотя боковым зрением уловила нечто странное. Замедлила ход перед светофором (хотя тот, как оказалось, не работал) – рядом со мной, справа, ехал настоящий танк, я заметила профиль молодого парня в кабине. Потом танк обогнал меня, и рядом оказался ещё один. Какое-то время мы ехали бок-о-бок, синхронно, я и танк. Это было очень странно. Я видела, как ползут его гусеницы, слушала, как они скрежещут, как за спиной тоже едут и скрежещут. Я никогда не видела танков так близко и понимала, ощущала,

сколь незащитно хрупка в своей жестяной коробчонке. Страшно не было – было именно странно. Потом танки меня обогнали. На мосту над МКАД я увидела длинную колонну гусеничных машин: солнце светило в ясном небе, корпуса отсвечивали на солнце...

Когда добралась до здания редакции в Бумажном проезде, там уже стояли два танка. Автор нашего отдела, молодой, но уже становящийся известным детский писатель, беседовал с высунувшимся из люка танкистом.

Наш журнал был одним из главных флагманов перестройки: он каждую неделю публиковал материалы и письма о том, о чём люди долгие годы думали, но не могли нигде прочесть, о чём разговаривали на кухне, когда дети заснут. Сюда приходили тысячи писем (отдел писем был самым большим), приезжали люди со всей страны, приходили иностранцы и эмигранты, которым ещё недавно нельзя было попасть на родину... Тут собрались удивительные люди, очень разные, с несхожим опытом, возрастом, характером, но все горели жаждой перемен, обновления, свободного общения, грезили об отмене надоевших запретов...

Нам хотелось ускорить это освобождение. Каждый новый номер содержал сразу несколько совершенно революционных публикаций: к при-

меру, фотографии вождей революции без ретуши и «вымаранных» фигур репрессированных соратников, отрывки из последнего романа Аксёнова, предсмертное письмо Бухарина, которое сохранила в памяти его вдова, мемуары узников ГУЛАГа или арестованные тексты Мандельштама, Бабеля, Хармса. Под отдельной рубрикой печатались материалы архивов КГБ из папок с грифом «Хранить вечно»: правда об Афганистане, о сотрудничестве церкви и КГБ. Плюс, разумеется, очерки и расследования о современности: о мафии, антисемитизме, Карабахе, бедности, конфликтах, уже раздиравших окраины страны, о молодых людях, которые учились быть лидерами перестройки в самых разных городах и посёлках... Мы спешили на работу не как на службу, но как в своего рода дискуссионный клуб, где каждый день обсуждались небывалые вещи, – конечно, мы чувствовали, что участвуем в сотворении истории... Одной из любимых редакционных шуток было задание угадать, кого арестуют, если вдруг перестройка схлопнется и вернётся старый порядок. Конечно, мы все, включая самых юных, состояли в этом гипотетическом списке.

19 августа наш главный редактор находился в Америке, читал лекции о перестройке. Многие журналисты были в отпуске. В зале редколлегии собрались все сотрудники и авторы, которые

оказались в Москве. Импровизированную летучку вёл заместитель главного. «Работаем в штатном режиме, – сказал он. – Самое важное – собрать как можно больше информации и подготовить очередной выпуск».

Он был спокоен. Как, в общем, и мы. Никакой паники – напротив, все собранные, даже в приподнятом каком-то настроении. Пока шла летучка, приходили всё новые и новые люди: кто-то, как я, примчался с дачи, кто-то уже успел поговорить с военными. Рассказывали, что те сами не знают, зачем их подняли и куда повели, и ни в коем случае не собираются стрелять в народ, не выполнят такой приказ. Вернулся тот самый наш автор – детский писатель, сообщил, что воины за перестройку, и попросил секретаршу сделать бутерброд для юного танкиста.

Раздали задания. В Белый дом хотели пойти все. Ассистентка отдела писем умоляла взять её, потому что она окончила медучилище и умеет накладывать повязки. Решили работать в круглосуточном режиме, если потребуется, встречаться каждые три-четыре часа. Кажется, среди собравшихся оказалось больше женщин. У многих, как у меня, были маленькие дети, но никто не протестовал против круглосуточного режима, не отпрашивался. Мы все хотели, чтобы наши дети жили в свободной стране...

Мне поручили поехать в Институт мировой литературы на Конгресс соотечественников, который как раз открылся: на него собрались эмигранты, иностранцы, в том числе наши авторы. Я помчалась, но уже никого не застала – все ушли на Манежную площадь на митинг.

Бросив машину, поспешила туда. Встретила знакомую преподавательницу с факультета журналистики, рассказавшую, что утром открылась конференция «О печати и её принципах»: декан сказал в своей вступительной речи, что свобода слова остаётся и её нельзя убить. Вскоре после этого пришли бывшие выпускники, журналисты с «Эха Москвы», и позвали на митинг.

«Все наши тут», – с гордостью сказала она.

Главный вход на Красную площадь был заблокирован автобусами с войсками. Начал моросить дождь, Манежная заполнилась разноцветными зонтиками. Тут и там выступали ораторы, призывая сопротивляться путчу, декламировали только что сочинённые стихи. В толпе гуляли слухи, что демонстрантов хотят травить слезоточивым газом, что генералы планируют взорвать Кремль, что Горбачёва убили – какая-то пара наладила тут же продажу значков «с нашим бывшим президентом». На каждом шагу встречались знакомые, в толпе мелькали узнаваемые лица – это воодушевляло. Возникло какое-то

особое чувство единения со всеми этими людьми, в том числе с совершенно неизвестными. Напоминало день 30-летия Победы, когда вечером мы с мамой шли по заполненному людьми Кутузовскому проспекту, плыли в людской реке, в которой мешались песни, слёзы, обрывки каких-то фраз, были частью этой реки...

Толпа двинулась к Новому Арбату (мы вместе с ней) и начала скандировать: «Ель-цин! Ель-цин!»

Память о пережитом – это зафиксированные всполохи, осколки... Засевшие в сердце фрагменты мозаики. Подлинность их со временем кажется фантомом, как подлинность собственных поступков и реакций, которые лукавое сознание норовит переиначить, переформатировать, некоторые детали теряются, оставляя лакуны.

Где я припарковала машину? Кажется, всё же свернула с Нового Арбата в переулок, к ИМЛИ, села за руль и отправилась к маме забрать на всякий случай документы... Потом, проезжая по Калининскому мосту, видела на балконе Белого дома Евтушенко: он читал экспромт – только что родившиеся стихи: «Белый дом как белый лебедь...» Но слов тогда не слышала – узнала потом. Там, в Белом доме, уже снимал наш фотограф Юра, оказавшийся, как положено репортёру, в нужном месте в нужное время и запечатлевший для истории всё происходящее, в том числе спя-

щего защитника, которого обнимает Ростропович, – этот снимок потом облетел весь мир.

Видела я и Ельцина на танке: этот момент был как кадр из кинофильма, резкий, отчётливый... Вообще (или так казалось уже спустя время?), в эти дни очень многое выглядело слишком кинематографично, символично.

Под дождем примчалась в редакцию – нас уже закрыли, как и другие демократические издания, и тотчас создалась «Общая газета», первый опыт профессиональной солидарности. Мы же решили почему-то выпустить неподцензурный номер: нашли маленькую типографию, туда я возила на машине рукописи и фотографии – потом эти материалы вошли в номер, вышедший сразу после окончания путча.

Помню, как в редакции смотрели по телевизору пресс-конференцию: как Таня Малкина задала вопрос про госпереворот, как тряслись руки у Янаева... Пришёл факс от нашего главного редактора – он писал, что не имеет морального права нами руководить, поскольку не с нами в этот час. И мы все согласились. Он вернулся через три дня и попросился в отставку – мы её приняли. А вот главред лучшей демократической газеты, наоборот, 19 августа рванул из Москвы в Крым, а когда возвратился, судился с коллективом, который его сместил... Но это было уже позже.

Страх, если честно, я не помню. Хотя, наверное, в какие-то моменты страшно становилось. Когда объявили комендантский час, а мы с друзьями под проливным дождём никак не могли вытащить из грязи в Девятинском переулке мою застрявшую машину... Когда ночью со второго на третий день пугча потеряли сигнал «Эха Москвы» и слушали радио у форточки в квартире друзей на улице Веснина – там ловилось лучше всего: ждали штурма, эти минуты без связи были мучительными... Когда сообщили, что в тоннеле под Новым Арбатом погибли трое...

Но страх, видимо, вытеснялся чем-то иным, что я не назвала бы безрассудством, – это было нечто вроде неотвратимости участия во всём этом движении. Не помню также, чтобы кто-то из друзей боялся или говорил об этом. И высоких слов типа того, что готовы умереть за свободу, никто не произносил. Все сосредоточились на практических действиях, для многих это была помощь «живому кольцу».

Главное воспоминание, навеки засевшее в сознании куда ярче Ельцина на танке, – «живое кольцо» защитников Белого дома. Совершенно бессмысленный с точки зрения военного дела акт, ставший знаком демократического выбора, бесстрашным, отчаянным по сути прорывом к свободе... Сместить его, конечно, ничего не стоило,

и все это, как я помню, хорошо понимали – про площадь Тяньаньмэнь ещё никто не забыл. Но было что-то совершенно алогичное, неподвластное доводам разума, что двигало в этот момент людьми, что влекло на самодельные баррикады, спланивало и наполняло каким-то особым смыслом, давало силы, возвышало...

Незнакомые люди мгновенно становились близкими. Удивляло единство: рядом с пожилым профессором и московскими студентами баррикады возводили приехавшие из глубинки рабочие и педагоги, ветераны и начинающие предприниматели. Молодых было большинство. Самоорганизация развивалась стремительно, инициативу взяли на себя люди с опытом, направлявшие вновь прибывающих. Баррикады строили из подручного материала, потом появились троллейбусы...

Приносили медикаменты и перевязочные материалы, какие-то предприниматели наладили доставку бутербродов и горячего чая, который разливали из термосов. Не помню, чтобы пили спиртное. Вообще, настроение было приподнятое – непогода и слякоть оказались бессильны его изменить.

Информация передавалась из уст в уста – мобильных телефонов тогда не существовало. Телефоны в редакции и в домах друзей разрыва-

лись – по ним передавали репортажи, последние новости...

У Белого дома я встретила своих американских друзей Катю и Славу, приехавших на Конгресс соотечественников. Их история стала в своё время сюжетом мировых СМИ: познакомились в 1971 году на пляже в Сочи – романтическая американская студентка, влюблённая в русскую культуру, и красавец блондин, хиппи, похожий на принца из сказки. Роман начался стремительно, но прервался, как в Библии, на семь лет: Катю не пускали больше в СССР, а Славу – к ней в США, впрочем, и вообще из страны не выпускали, к тому же выгнали из института. Он бомжевал, а она писала в ООН, Брежневу, Джонсону... Наконец Слава прорвался на Запад; первый после семилетней разлуки поцелуй влюблённых в аэропорту Парижа был запечатлён фотографом, снимок опубликован в журнале «Тайм».

Слава приехал на родину впервые после побега. С Катей мы уже были знакомы пару лет, она писала книгу о русской литературе и печаталась в нашем журнале. Мы повстречались на митинге 19 августа, но потом я на некоторое время потеряла их из виду...

На исходе второго дня путча руководители «живого кольца» по громкоговорителю предложили женщинам отправиться по домам – ночь

обещала быть тревожной. В этот момент я увидела, как на баррикаду взобралась Катя. «Я американская феминистка, – кричала она, – я имею право защищать русскую демократию!»

Когда закончился путч, над Белым домом сияло солнце. Наступил совершенно невероятный ярчайший закат, и очертания города в его свете обрели какое-то особое совершенство. Люди у Белого дома пели, обнимались, выступала «Машина времени», кто-то ещё, и вокруг были совершенно удивительные лица. Ни одного уродливого или невыразительного, как будто закатный свет небес, а с ним ещё что-то выявили самые лучшие черты... Никогда не забуду тогдашнего изумления: как красив мой город и как прекрасны лица его людей! Через день лица снова стали обычными.

Интересно, что через несколько лет, когда мы с Катей говорили об этих днях, она помнила не ошеломляющий закат, а дождь, грязь, в которую она упала и испортила любимую шёлковую юбку, и поверженную статую Дзержинского на Лубянке.

Все дни путча мой сосед по даче, который не мог оставить умиравшую мать, писал «дацзыбао» на основе передач «Эха Москвы» и моих телефонных сообщений и вывешивал на местном газетном щите возле почты. Бабушкин телефон великолепно послужил в качестве средства связи.

Вечером после окончания путча все друзья собрались у коллеги Мидхата на улице Горького, в исторической квартире, где когда-то жила его тётя, известная писательница. Муж, как всегда, взял гитару: его любимые Окуджава, Шпаликов, Ким... Сохранилась любительская запись этого вечера – снимал актёр, который давно от нас ушёл.

Мужа нет уже двадцать лет. Ушли из жизни мои любимые университетские преподаватели, великие и просто талантливые авторы нашего журнала, торопившие историю, близкие друзья и коллеги, русские и американские, участники тех событий.

Мой дачный сосед, писатель, пишет с помощью мобильного телефоны новые «дацзыбао» в чат защитников поселкового парка, отважно противостоит коррупционерам-чиновникам, которые уже продали наши лужайки и сосны под застройку коттеджами. Стационарных аппаратов не только в нашем посёлке, но и в Москве уже ни у кого нет – в цифровую эпоху это очевидный анахронизм. Новое поколение диктует свои правила всем, старшим в том числе.

Мы гуляем по ещё не вырубленным рощицам, где выросли наши дети. Там, как и прежде, играют малыши, прохаживаются молодые мамы с колясками. Сверяются с гаджетами, обсуждают

---

курс доллара, размер пособия на детей и куда пролетел вчерашний дрон. Смотрят на небо. Там ни облачка: жаркое солнце, яркая синева.

Мне снова чудится небо того далёкого августа и почти библейский закат, чудесно высвечивающий контуры зданий и профили, глаза, скулы, подбородки москвичей. Почему-то я думаю, что ещё раз увижу тот закат.

...Какие прекрасные лица у детей!

---

## Издания АИРО в 2024–2025 гг.

### 2024

- Алмазов М.Г.* Московская власть в борьбе с революцией накануне и во время Декабрьского вооруженного восстания (октябрь–декабрь 1905 г.) / Послесловие Дмитрия Андреева. – М. : Пробел 2000, 2024. – 624 с. – (Серия «АИРО – первая монография» ).
- Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А., Лаврентьева М.Ю.* Гибридные и информационные войны. Учебное пособие. – М. : Пробел-2000, 2024. – 312 с.
- Бордюгов Г.А.* История как конъюнктура. – М. : Пробел-2000, 2024. – 268 с.
- Бордюгов, Геннадий Аркадьевич.* Биобиблиография-70 / Сост. О. Пруцкова, С. Щербина ; Предисл. Дм. Андреева. — Изд. 2-е, расшир. и доп. – Москва : Пробел-2000, 2024. – 232 с. : ил.
- Владимир Вениаминович АГЕНОСОВ.* Учитель. Ученый. Человек. Сост.: Г.А. Бордюгов, И. Ли. – Москва : Пробел-2000, 2024. – 300 с. : ил.
- Вадим Сидур:* «Мир без человека мне не интересен». В 2-х частях. Часть I. Эдуард Гладков «В памяти и на фотопленке». Альбом фотографий. – М. : АИРО-XXI, 2024.
- Вадим Сидур:* «Мир без человека мне не интересен». В 2-х частях. Часть II. «Однажды они спустились в подвал». Друзья, почитатели вспоминают... – М. : АИРО-XXI, 2024.
- Выжutowич В.В.* Ни слова о болезни: Беседы с доктором Бузиашвили.-2-е издание. – Москва : Пробел-2000, 2024. – 144 с.
- Захарова Э.О.* Чиновник особых поручений Андрей Заблочный-Десятовский. – М. : Пробел 2000, 2024. – 296 с. – (Серия «АИРО – первая монография»).
- Нельская-Сидур Юлия.* «Время, когда не пишут дневников и писем...» Хроника одного подвала. Дневники 1968–1973 / Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Владимира Воловникова. Изд. 3-е, исправленное. – М. : АИРО-XXI, 2024. – 1080 с.

---

*Носков В.Ю.* Великая Отечественная: военное детство в советской пропаганде и памяти поколения (на материалах Донбасса). – М. : Пробел 2000, 2024. – 240 с. – (Серия «АИРО – первая монография»).

Опережающий время: Вячеслав КОНОВАЛОВ. – М. : Пробел-2000, 2024. – 200 с.

*Четырина Н.А.* Реестр записей частных условий и контрактов ратуши Сергиевского посада (1790–1864 гг.). – М. : Пробел-2000, 2024. – 340 с.

## 2025

Феномен Нагавкина / Сост. Г.А. Бордюгов, Е.Е. Голубева. Электронная версия. – М.–СПб., 2025. – 152 с. : ил.

С этими и другими изданиями  
вы можете подробнее ознакомиться на нашем сайте  
[www.airo-xxi.ru](http://www.airo-xxi.ru)

---

**Надежда Ажгихина**  
**ДЕТСКИЙ САД**

Корректор – Наталья Захаровская

ISBN 978-5-98604-988-5



E-mail: [airo@airo-xxi.ru](mailto:airo@airo-xxi.ru)  
[www.airo-xxi.ru](http://www.airo-xxi.ru)

Подписано в печать с оригинал-макета 29.11.2024  
Формат 70×100 1/32. Бумага офс.  
Тираж 300 экз. Усл. печ л. 8.13.

Отпечатано в типографии издательства «ПРОБЕЛ-2000»  
Адрес: 111033, г. Москва, Золототорожский Вал, д. 11, стр. 26  
Тел.: (495) 287-06-19; e-mail: [probel-2000@mail.ru](mailto:probel-2000@mail.ru)



**Надежда Ажгихина** – журналистка, прозаик. Автор книг публицистики, в том числе «Пропущенный сюжет», «Междометия», «Честное слово», «Письма из Москвы. Устная речь. Междометия», книг прозы «Венок из одуванчиков», «Девочка с птицами», «Сны». Автор сценариев документальных фильмов, в том числе «Юрий Щекочихин. “Однажды я был...”», «Груз несвершённого». Автор и составитель (совместно со Светланой Василенко) сборников женской прозы. Член Союза российских писателей.